

---

---

Ольга ШУКИНА

# ПУТЕМ СОРНОЙ ТРАВЫ

Повесть

## АКТ О НАЙДЕННОМ РЕБЕНКЕ

1950 года октября 4 дня г. Ленинград.

Я, инспектор Д/п 5 отд. ЛГМ, мл. лейтенант милиции Смирнова в присутствии отв. дежурного 5 отд. ЛГМ ст. лейтенанта милиции Гришик и дежурного дворника Воевой Д/х № 116 по Владимирскому пр.19, составлен настоящий акт в том, что сего числа из садика по Колокольной ул. д. 1 в дежурную комнату доставлена девочка от полутора лет до двух, ничего не говорит.

Девочка одета:

1. Шапка-ушанка серая, плюшевая
2. Платье синее с белыми квадратиками
3. Кофточка коричневая
4. Рубашка нижняя белая
5. Штанишки серые
6. Чулки коричневые
7. Ботинки черные,

в чем составлен настоящий акт. Девочка подлежит направлению в Дом малютки, Земледельческая ул. 3.

Круглая печать и три подписи.

Этой девочкой была я. Из этого «акта о найденном ребенке» сложилась моя жизнь. Судьба сразу определила мне жизнь в казенных домах, которые некогда назывались сиротскими, а теперь детскими домами. А поскольку время было тогда советское и сменилось, по крайней мере, два поколения с тех пор, то решила я рассказать о том, как этот самый брошенный ребенок, преодолев детдомовское детство с бешеным упорством, не имея поддержки ни в ком и ни в чем, сочинил собственную жизнь. И это несмотря на то, что, сколько помню, я не отличалась благонаравием и частенько за свое нестандартное поведение слышала угрозы со стороны воспитателей «отправить на перевоспитание в детскую колонию». Но этого не случилось. А предстояла мне долгая дорога с ухабами, рытвинами, а порою даже с пропастями. Но, как я теперь понимаю, мои неведомые родители наградили меня невероятной жизнестойкостью. С упорством сорной травы я все время тянулась к свету. И вот что получилось...

---

Ольга Васильевна Шуккина родилась в Ленинграде в 1948 году. Окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт им. Мечникова, работала врачом в больнице им. Софьи Перовской. По окончании ординатуры Института им. Бехтерева заведовала отделением психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Все существующее в мире имеет корни: деревья, цветы, животные и люди. Из этих корней произрастает новая жизнь, которая вбирает в себя незримый опыт предыдущих поколений. А какой будет эта новая жизнь, зависит не только от обстоятельств, в которых она будет развиваться, но и от природного качества этих самых корней. По-видимому, с этими самыми корнями мне повезло...

Так и осталось загадкой мое происхождение: ни имени, ни настоящего дня рождения, ни возможности, как ни напрягай воображение, представить себе родителей, их род занятий, что побудило их (или ее) оставить ребенка. А случилось это в осенний день «1950 года октября 4 дня», как указано в акте о найденном ребенке. И вот уже много лет, всякий раз, как случается мне проходить мимо Владимирского собора, взгляд мой непроизвольно ищет ту самую скамью в садике, на которой в тот несчастный день сидела маленькая девочка. Собор не действовал с 1932 года и был превращен в книгохранилище Академии наук. Много лет спустя я познакомилась с женщиной, которая рассказала, что именно 4 октября 1950 года она родила дочь. Жила она тогда в Псковской области и в этот день ее везли в роддом. Погода тогда, вспоминала она, стояла не по-осеннему теплая. Значит, это ее воспоминание некоторым образом извиняет того, кто подкинул довольно легко одетого ребенка к церкви. Документов никаких со мной не было. А значит, я как бы возникла из небытия, что давало простор воображению. Почему-то на ум приходила история с проезжим гусаром, соблазвившим наивную, неопытную дурочку. Причем здесь «гусар» — бог весть! И все же кое-какую выгоду из тайны рождения я все-таки для себя извлекла. Поскольку датой моего рождения стало 4 октября — день моего «найдення», я беззастенчиво пользовалась этим и могла назначить себе любой из дней года в качестве дня рождения. Даты эти я не любила и дней рождения никогда не отмечала. Лет до девяти я не задавалась вопросом о своем происхождении; жизнь в детском доме была привычной и естественной. И вот однажды мы все окружили нашу воспитательницу Анну Алексеевну, и каждый в общем хоре вопрошал: «А кто мои родители?» Спросила и я. Она сказала, что отец мой был летчиком и разбился в полете, а мать умерла в родах. С этим героическим летчиком и несчастной матерью я примирилась в душе. И вот однажды нас двоих попросили убрать кабинет директрисы. Происходило это не в первый раз. Каждый раз мы использовали это время на всякого рода шалости. На старинном зеленого сукна столе директрисы лежало много интересных вещей. Но нас привлекали большой черный телефон и телефонная книга, в которую тогда вписывались все телефоны ленинградцев. Мы набирали любой номер и спрашивали: «Это вы заказывали гроб? Куда вам его доставить?» Наслаждались недоуменной паузой, вешали трубку и победно хохотали.

Ну, а в тот раз моя бойкая напарница забралась в шкаф, где лежали наши личные дела. И вдруг, раскрыв свою папку, в документе о рождении, в графах о родителях я увидела «сведений нет, сведений нет». Это меня потрясло. Как нет сведений! А где мой героический отец и несчастная мать? Я еще раз потеряла их, но теперь окончательно. Было ясно, что Анна Алексеевна зачем-то придумала для меня эту печальную историю. Только зачем? Было неловко уличать ее в обмане. И я промолчала. Так я узнала, что корней у меня нет. С этим мне пришлось жить. Много позднее я узнала, зачем она это сделала...

Акт о найденном ребенке был моим первым документом. Вторым стали так называемые метрики, выданные в Доме ребенка. Там же, думаю, был определен мой возраст. А днем рождения стало 4 октября. Ну, а происхождение имени и фамилии так и осталось неразрешимой загадкой...

Эти записки, скорее всего, не родились бы, если бы не настоятельная просьба моего Учителя, профессора Н. Г. Шумского, который незадолго до своей смерти, выслушав

мой сбивчивый рассказ о моем детдомовском житье-бытье, не взял с меня слова оставить воспоминания о жизни «в советских детских домах». Он говорил мне, что я не имею права уйти из жизни, не оставив воспоминаний о пребывании в «советском» детском доме. Тем более что эпоха сменилась, советское время безвозвратно кануло в Лету, а в детских домах уже жили другие дети, не ведавшие той прежней советской жизни. Ленива я писать, но обещание, данное Николаю Георгиевичу, для меня свято. Он так наставлял меня: «Вы должны писать каждый день, подобно пианисту, тренирующему свои руки». Прошло много лет, и время было, и желание писать жило где-то в душе, и про «пианиста» я помнила, но принялась я исполнить завет моего Учителя только сейчас, когда появился страх, что не успею этого сделать, так как есть предел человеческой жизни, а воспоминания о прошлом все еще свежи. Я не тешу себя надеждой написать нечто значительное, но сами эти воспоминания, думаю, новым детдомовцам помогут лучше понять то советское, а для меня незабвенное время. Хочу, чтобы новые детдомовцы, в отличие от нас, послевоенных, не чувствовали своей ущербности и вопреки жизненным трудностям нашли бы в себе силу и волю к сопротивлению им. Ведь нас, детдомовцев, сравнить можно с сорной травой, которую никто не любит, но зато сколько жизненной силы в этой траве!

На протяжении всей своей жизни я пыталась проникнуть в свое бессознательное и вызвать из него образы своих родителей. Но где там! Вот получалось же у Л. Н. Толстого! Будучи младенцем, он помнил, как тесны ему были пеленки, как хотел он выпростать руки из них, кричал, но никто его «не освободил». По-видимому, ему в это время было не больше года. Быть может, это особенность памяти гения или кокетство писателя. Я же вспомнить могла только ранние впечатления, начиная с дошкольного детского дома в городе Пушкине...

Вот мы идем парами в Лицейский садик. Нам по три-четыре года. По периметру наша группа ограничена веревкой, за которую мы держимся. В Лицейском садике на чугунной скамье сидит в задумчивой позе кудрявый Пушкин. Помнится, наш дом тогда посещал некий Володя. В моей детской памяти это был черноволосый, всегда неряшливо одетый молодой человек. Теперь трудно понять, что побуждало его посещать нас. Он часто фотографировал нас. И вот им была сделана редкостная фотография. Как часто я вспоминала о ней, а она затерялась во времени. На ней я сижу на скамье рядом с задумчивым Пушкиным. Ведь рядом с ним до сих пор есть место, куда можно посадить ребенка, но теперь — увьи! — памятник обнесен оградой. И теперь сделать подобный снимок совершенно невозможно. А я частенько думала об одной аванюре: приехать в теперешний город Пушкин ночью с одной из моих многочисленных внучек, перелезть через ограду, посадить ребенка на скамью к поэту и сделать снимок. Но что об этом мечтать сейчас, если я эту сумасбродную идею не осуществила со своим сыном, что уж говорить о внучках. Жаль, что современным детям не сидеть рядом с Пушкиным. Мы, как все на свете дети, были преисполнены всяческих предубеждений, как то: если съешь горбушку — будешь горбатым, а то и грудь будет большой, когда вырастешь. Так вот, в Лицейском садике, если смотреть в лицо каменному Пушкину, направо, в стороне лежала вросшая в землю плита. В нашем тогдашнем представлении она имела некую мистическую силу: мы считали, что если кто-то до нее дотронется, то вскоре умрет. И мы из баловства старались спихнуть друг друга на нее. Потом уже не раз, будучи взрослой, бывая в Лицейском саду, я искала эту плиту и не находила. Лишь много лет спустя в каком-то литературном источнике я с изумлением узнала, что в начале восемнадцатого века на месте Лицейского садика была березовая роща. При Александре Первом Благословенном в 1818 году на ее месте была выстроена Знаменская церковь. В ее ограде гуляли лицеисты. У каждого класса был свой участок для

прогулок, где весной они сажали деревья и цветы. Вот что пишет об этом лицеист Яхонтов: «В передней части сада, под тенью старых лип, устроена была деревянная беседка в форме гриба, под навесом которой обыкновенно заседали дежурные гувернеры. Между этим грибом и длинным четырехугольным зданием Лицея была расположена широкая и во всю длину дома площадь, усыпанная песком, на которой мы играли в лапту, чехарду и бары (если про лапту еще наверное помнят, но что такое „бары“, скорее всего, не помнит никто. — *О. Ш.*). Сбоку около досчатого (так написано в тексте. — *О. Ш.*) забора, отделявшего наш сад от двора приходской церкви, под густою тенью черемухи лежала почерневшая от времени плита с вырезанной на ней надписью „Genio loci“. Этот памятник был поставлен еще первым курсом». Модест Корф, упоминая о нем, замечает, «что это была просто фантастическая надпись, придуманная романтическим Энгельгардтом в честь невидимого духа, покровителя этих роц, какого-нибудь воображаемого фавна». И вот с этой-то плитой мы столь непочтительно обращались. А теперь ее кто-то столь же непочтительно уничтожил. Где-то она теперь?.. Много лет спустя, бывая в Лицейском саду, я, вслушиваясь в тишину сада, пыталась поймать звуки наших шагов, голосов — тщетно! Все поглотило время...

Мои воспоминания о жизни в дошкольном детском доме на улице Революции в городе Пушкине могут показаться неправдоподобными. Подтвердить их могли бы только мои одноклассники, которых я помню всех по именам, но следы их затерялись в том далеком прошлом. Как часто, вглядываясь в лица прохожих или людей, проплывающих на встречном эскалаторе, я думаю: хорошо бы, Судьба послала встречу с кем-нибудь из них, но годы проходят... Да и как можно было бы различить в расплывшихся, состарившихся лицах моих давних одноклассников, чьи лица я вижу на единственной сохранившейся фотографии. Почему пути наши ни разу не пересеклись? В те далекие времена я ни тогда, ни позже не чувствовала своего сиротства и всегда воспринимала свое детство как самое счастливое. Ведь именно детдомовская судьба научила меня жизнестойкости, упорству в преодолении трудностей. Ни единой минуты я никогда не жалела о своей участи. И по сей день я считаю это время самым счастливым. Его я могу сравнить по свету, который оставило это время в моей душе, только с рождением моего сына...

Мне года три или четыре. Я просыпаюсь в тот самый момент, когда во сне мне приснился унитаз, и с ужасом обнаруживаю, что простыня подо мной мокрая. Представить себе позор, насмешки, каким бы я подверглась бы утром, невысказанно. Как ни трудно выбираться из постели, встаю, полусонная, и несу простыню в умывалку мимо спящей ночной няни. Там я ее «стираю», кое-как отжимаю, расстилаю на постели и тут же засыпаю. Утром она подо мной почти сухая. Никто, к счастью, не заметил ничего.

Но такое везение было не всегда. Спали мы в большой комнате — «спальной» — все вместе, девочки и мальчики. И, чего греха таить, мы познавали все особенности друг друга сполна. На нашем тогдашнем языке это называлось «ходить друг к другу в гости» под одеяло. Ощупывая, трогая все запретные места на теле «гостя» мы чувствовали себя совершенно естественно, не испытывая при этом никакой стыдливости или неловкости. Или, например, считалось большой доблестью встать в постели, поднять ночную рубашку и крикнуть: «Показать вам глупости?!» Ну, конечно же, это происходило в отсутствие ночной няни Фроси. Не помню ее внешности: она мне представлялась тенью, так как всегда ходила в черных одеждах, тенью безмолвной и понурой, над которой мы с детской жестокостью издевались. Чаще это касалось экскрементов, которыми мы измазывали ее черные одежды. Но я не припомню ни одного резкого жеста или жалобы ее.

Совсем иначе вела себя другая ночная няня. Она была моложе, и у нее было прелестное имя Адель. Мы ее звали Адель Александровна. В моей детской памяти она осталась крупной, дебелий, румяной теткой. Особенно хорошо я запомнила ее крупные руки. Должно быть, она была гурманкой, я бы даже сказала, эстеткой по части глумления над детьми. Когда после ухода ночной няни мы в крошечной темноте беспечно предавались познанию друг друга или с хохотом и визгом бросались подушками и ботинками, вдруг раздавался чей-то крик: «Аделя идет!» Мы замертво валились в свои постели и в ужасе застывали, затаив дыхание. И вот она подходит к моей постели, с остервенением стягивает одеяло, садится на постель, берет мою ступню в одну руку, в другую ботинок, бьет по пятке и поет: «К нам гости пришли, дорогие пришли. Мы не зря кисель варили, пироги пекли. С калинкой пирог, с малинкой пирог, а который без начинки — самый вкусный пирог». Было больно, но я почему-то не плакала. Допев всю песню, она шла к кому-то следующему, терзать уже его ногу и петь все ту же песню. Песня эта навсегда поселилась в моей памяти вместе с образом незабвенной Адели. Были у нее и иные изыски по части терзания наших детских тел и душ. Так, например, она поднимала рядом лежащих детей и заставляла их «давать друг другу макароны». Это значит: один из провинившихся склонялся над постелью, а второй должен был кулаками бить его по шее. Если ребенок отказывался, то эти самые «макароны» обрушивались уже ее кулаками на шею обоим. Ноги и шея на следующий день болели. Но Аделя всегда говорила: «Скажете кому-нибудь — убью!» И мы молчали. Обычно, поглумившись над нами, уходя из спальни, она говорила железным голосом: «Все повернулись на правый бок, и не дышать, не дышать». Я этот ее приказ выполняла буквально: задерживала дыхание, сколько могла выдержать, и засыпала. Ее диктат не делал нас менее резвыми, свои шалости мы не оставляли. А она изобретала для нас другие испытания. Помню нас, сидящих на кухне в ночных рубашках вокруг большого алюминиевого котла. Мы чистим картошку или морковь. Рядом с нами безмолвной тенью сидела и няня Фрося. Не знаю, как долго продолжались эти картофельно-морковные бдения, но мы, будучи бесправными и запуганными, не сговариваясь, молчали...

Мы были обеспечены всем, что могло предложить то послевоенное время. Думаю, многие домашние дети не имели того, что было у нас. Конечно, девочки не имели личных, любимых кукол. Сейчас, когда я смотрю на изобилие кукол у моих внучек, внутри меня возникает протест — мне кажется это обжорством, в котором не может родиться у маленькой девочки любовь к единственной неповторимой кукле. И я думаю, будь в моем детстве одна-единственная кукла, как бы я ее лелеяла, нежила и голубила. А в нашей группе, так называлась комната для игр и занятий, был кукольный уголок. В нем была единственная целлулоидная кукла, которая удовлетворяла будущие материнские устремления девочек. Что там было для мальчиков, не помню. В этой же комнате мы обыкновенно сидели вокруг воспитателя с руками, закинутыми на спинку стула. Так нас приучали «держаться спину», чего в нынешних детских садах не делается. А жаль... Сейчас я воспринимаю это как буржуазный пережиток: так, по видимому, воспитывались девочки в Смольном институте. А воспитательница тем временем читала нам книгу. А позднее, когда мы подросли до дошкольного возраста, в этой же комнате мы писали в прописях крючки и палочки, готовясь к школе. Не могу не обойти тему, актуальную для всех детей, — любовь к сладкому. Были в нашей среде дети, у которых были родители. Но по разным причинам эти дети жили в детском доме. Вот им-то, счастливым, иногда приносили «гостинцы». И вот тогда-то возникали такие жанровые сценки. Этот самый счастливый, затаив дыхание, наслаждался в одиночку чем-то вкусеньким. И всегда находился кто-то, кто начинал канючить:

«Дай попробовать!» А счастливцев, давясь сладкими слюнями, отвечал: «А у меня во рту!» Диалог продолжался: «Дай изо рта!» Иногда к тебе снисходили и давали лизнуть обсосанную конфету. Современным детдомовцам, наверно, трудно представить себе такое. Я ведь рассказываю это не для того, чтобы вызвать жалость, а только потому, что такова была тогдашняя реальность.

Как-то много лет спустя мне понадобилась справка о моем пребывании в дошкольном детдоме, и я приехала в Пушкин. По-новому взглянула я на этот дом, что на улице Революции. Мне показалось странным и необычным это здание, запахи внутри него. Я узнавала и не узнавала этот вход, эту лестницу, по которой, пока я разговаривала с Евгенией Филипповной, моей бывшей воспитательницей, робко и виновато прошмыгнула полуодетая девочка (был тихий час). И я, еще не будучи взрослым и зрелым человеком, больше почувствовала, чем подумала, что эта девочка — я сама. Вот такой я была в те годы, как этот маленький народ, обреченный на длительное бесправное существование в казенном доме. Воспитательница узнала меня, прослезилась и посетовала на то, что я таки «много крови попила» у персонала. А потом вдруг оказалось, что именно я не записана в домовое дело, хотя я назвала по именам всех своих однокашников. И только поэтому нужная справка была выдана мне. Но это обстоятельство так и осталось необъяснимым. Хотя была некая догадка у моих друзей: поскольку время было тревожное, еще продолжались политические репрессии, возможно, мои родители и попали под этот каток, а я оказалась жертвой, и именно поэтому я не была зарегистрирована в домовое дело. Ну, вроде поручика Кижее...

Ну а Адель Александровна между тем изобретала другие изощренные пытки. Так, например, в наказание я частенько сидела в одиночестве в крошечной тьме на шкафу, не очень высоком по меркам взрослых — такие шкафы есть во всех детских садах, в них дети вешают свои вещи. Но однажды наша истязательница посадила меня на большой, «взрослый шкаф» в группе — так называлась большая комната для дневных занятий. Я сидела в ужасе, боясь пошевелиться. Казалось, подо мной разверзлась огромная черная бездна. Я уже устала плакать и только икала, вздрагивая всем телом, как вдруг рука моя нащупала коробку, это оказались конфеты. Должно быть, кто-то из воспитателей днем положил ее на шкаф. Но какое мне было дело до чужой собственности! Все — и страх высоты, и черная бездна подо мной — напрочь исчезло. Я почти бессознательно наслаждалась никогда доселе не виданным лакомством; поела и поела эти конфеты. Этот горестный мир наконец для меня сузился этим первым подарком Судьбы. Слезы давно высохли, страх улетучился, и я спешила съесть все еще до того, как Аделя придет снимать меня со шкафа. Наверно, я все-таки упрямилась. Помню, с каким внутренним трепетом на следующий день ждала я Возмездия. В привычной дневной суете я прислушивалась к разговорам взрослых, опасаясь услышать про пропавшие конфеты. Но нет, этого не случилось. Да и мог бы кто-нибудь вообразить себе сидящую ночью на шкафу девочку, поедающую никогда прежде не виданные конфеты.

Я упомянула, что наша незабвенная Адель была гурманкой по части глумления над нами. Ее изыском была любовь к чесанию пяток и спины. Вот такая старинная забава! Меня и сейчас занимает вопрос, какое удовольствие может получать человек, когда ему чешут пятки — ведь это щекотно и неприятно. Но наша мучительница находила в этом, по-видимому, сладострастное удовольствие. Она приходила в спальню, поднимала трех-четырех, на ее взгляд, провинившихся. Мы отправлялись в длинных белых рубашках и черных ботинках на лестницу, где в пролете стоял старый, кожаный топчан. Аделя всеми своими объемными формами грузно укладывалась на живот, и мы, распределяясь по длине ее пышного тела, чесали ей пятки и спину. Она лежала молча. Но вот однажды, бог весть почему, я запустила свои руки

под резинку ее синих трико и начала остервенело царапать ее задницу. Она тут же вскочила, возопив: «Кто это сделал?!» Все молчали, понуриив головы. Молчала и я. Тогда она заявила, что мы будем услаждать ее еще какое-то время. Должно быть, так и было. А я внутри себя торжествовала! Вот так и текла наша жизнь. Днем мы играли в группе, учились писать крючочки и палочки в тетрадках, парами ходили гулять в Лицейский садик, где на возвышении сидел на чугунной скамье задумчивый Пушкин, а ночами мы попадали в царство женщины с прекрасным именем Адель...

Наверно, я была очень неудобным для воспитателей ребенком потому, что на протяжении всей моей детской, а потом уже отроческой жизни исхитрялась притягивать к себе «меры воспитательного воздействия», а потом все более и более набираться отрицательного опыта, который, увы, редко не был мною усвоен. Так, помню, лежу я, привязанная к кровати, а чья-то рука лупит меня. Я захожусь в злобном плаче. Это даже не плач, а бесконечный крик из-за невыносимой обиды. В чем уж я тогда провинилась, какой мой поступок так раздражил моих воспитателей, не знаю и не помню. Только запомнила интонацию, с которой другой женский голос сказал бьющей руке: «Хватит. У нее пупок разорвется», и битье прекращается. Сейчас я понимаю, что никакой пупок разорваться не может, а тогда эти спасительные слова прозвучали концом моих мучений.

А однажды меня вместе с каким-то мальчишкой заперли в канцелярии. Мы и не думали переживать по этому поводу. Думаю, и он, и я воспринимали это как приключение, возможность выпасть из привычной обстановки. Вдруг раздался телефонный звонок. Я сняла трубку впервые в своей жизни и услышала там голос. Не вслушиваясь в то, что говорил этот голос, я начала кричать в трубку, что «здесь есть страшная Аделя, она нам «дает макароны, бьет по пяткам». После того как трубка была положена, мы продолжали ждать нашего освобождения. Через некоторое время к дому подъехала машина, мы слышали звонок в дверь, кто-то с кем-то разговаривал, а затем уехал. Потом пришла разгневанная Аделя, она спросила, говорили ли мы с кем-нибудь по телефону. Ну, конечно же, мы все отрицали. Тем дело и кончилось...

С молодых ногтей каждый из нас был приучен к труду: заправить постель, убрать за собой, я уж не говорю о «тайной» чистке на кухне овощей по ночам. Но вот один случай поверг меня на невыносимые нравственные страдания. А дело было так. Заведующая детским домом Надежда Илларионовна (будучи по роду деятельности врачом, я не устаю удивляться потрясающей цепкости детской памяти — я помню имена и фамилии своих однокашников, а также имена наших воспитателей), так вот, Надежда Илларионовна попросила меня, пятилетнюю, подмести ее кабинет. И надо же было такому случиться, что я, подметая, задела маленький, по-видимому, старинный, столик со стоявшей на нем хрустальной вазой. Он накренился, и — о ужас! — ваза грохнулась на пол и раскололась. Я вся оцепенела от страха, а директриса раскричалась и закончила тем, что «как угодно, но чтобы ваза была цела». Думаю, что это было сказано в гневе, и, конечно она не имела в виду, что ребенок может вернуть прежний вид несчастной вазе, но я-то восприняла ее слова буквально. Помню, что я в отчаянии ходила по нашему саду со злополучными осколками в руках и пыталась соединить их. Слезы душили меня, внутри все разрывалось от невыносимой муки, но проклятая ваза никак не хотела склеиваться. Не знаю, как долго я пребывала в таком отчаянии, но только после неоднократных попыток вернуть вазе прежний вид я с покаянным видом явилась к директрисе и сказала, что у меня ничего не получается. Думаю, она была немало удивлена моей наивности...

А между тем наша незабвенная Адель по ночам продолжала свои педагогические экзерсисы над нашими бедными телами. И вот однажды вышеупомянутая заведующая детдомом Надежда Илларионовна увидела в коридоре хромающую девочку и на-

чала допытываться, что у нее с ногами. Но та, запуганная Аделей, не сразу призналась, что получает ночами удары ботинками по пяткам. Ну, а потом Адель исчезла. Так наступил конец ее ночному царствованию.

Но почему же я без ненависти и обиды вспоминаю ее? Наверно, она преподала нам первые уроки страдания, но ведь и мы отнюдь не были ангелами. Это были только первые уроки страдания, а сколько их еще будет впереди! Теперь этот феномен кажется, называется «стокгольмский синдром», когда жертва сочувствует своему мучителю. И все же я без обиды вспоминаю Адель Александровну. А ее незатейливая песенка «К нам гости пришли, дорогие пришли...» никогда не изгладится из моей памяти. Даже на смертном одре. Прощай, незабвенная Адель!

Вспоминается сильнейший ливень. И мы, как очумелые, поскидывали свои одежды и носимся под дождем. Почему-то никого из воспитателей нет. Я сижу под водосточной трубой, из которой хлещет вода. Осталось ощущение веселой, бесшабашной радости бытия. Таких дней было немало. Но память фрагментарна. Она выхватывает из прошлого только наиболее значимые события. И уж если они запали в душу, то сколько бы ты ни жил, они, эти события, никакой силой не могут быть исторгнуты из памяти.

Но вот пришло время нашему переходу из дошкольного детского дома в школьный. Этим летом нас привезли на дачу в Вырицу, куда на летнее время выезжал детский дом № 65, что находился на улице Чайковского в Ленинграде. Как только автобус остановился, нас, малышей, окружили старшие ребята. Они стали выбирать понравившихся мальчиков и девочек для «шефства». Я же не досталась никому. Что-то было в моей внешности и в том, как я себя держала, что никто не захотел взять опеку над мной. Испытывала ли я обиду? Нет, пожалуй. Или нет, немножко. Но только с этих самых пор я и стала слышать «другой барабан», то есть внутри себя я все время ощущала какую-то особость. Можно ли это назвать жестким стержнем или гордыней, не знаю. Но как-то так получалось, что с младых ногтей, живя в коллективе, я всегда оставалась одиночкой. Завидовала ли я этим другим детям, которых сейчас опекали, угощали? Они сейчас разбрелись по огромной территории теперь и нашего лагеря. Первое, что бросалось в глаза, это бывшая старинная конюшня, которая почему-то называлась немецкой. Но большую часть этого строения занимало огромное помещение. По-видимому, там раньше были стойла для лошадей. А сейчас стояли длинные дощатые столы, которые занимали все пространство этой «конюшни». Это помещение было одновременно и кухней, и столовой. В обеденное время там всегда было шумно: сновали дежурные в белых передниках, разнося еду. В то первое для нас лето каждая группа жила в отдельном деревянном доме. А на следующее лето нас объединили в каменном двухэтажном доме, где на первом этаже жили мальчики, а на втором девочки. Случай, о котором я хочу рассказать сейчас, рождает во мне двойственное отношение. С одной стороны, он таинственный, почти фантастический, а с другой — а не разыграла ли нас всех в то утро девочка по имени Вера Журавлева. И так, в то лето замок во входной двери был сломан. И на ночь к ней просто придвигали скамейку. Наша спальня находилась как раз напротив входной двери. Причем так называемых «писунов» обычно укладывали у самой двери, чтобы ночью няне было удобно будить их на горшок. А Вера как раз спала у самой двери. В то утро в спальне царили, как всегда, гомон и суета. Девочки занимались обычными утренними делами: заправляли постели, что-то громко обсуждали. В суматохе утреннего пробуждения вижу остолбеневшую с широко открытыми, полными слез глазами Веру. В ее руках три рубля — деньги, совершенно немыслимые в наших условиях. И вот она дрожащим от смятения голосом рассказывает невероятную историю. Ночью в кромешной тьме она открыла глаза в тот момент, когда в спальню, тихонько отворив дверь, вошел мужчина. Он сел



у нее в ногах и молча уставился на нее. Она не смела ни пошевелиться, ни закричать. Как долго это продолжалось, она не знает. Но вот он опустил руку в карман, что-то достал оттуда и это «что-то» положил в ее пододеяльник. Потом так же бесшумно вышел, затворив за собой дверь. А утром, вспомнив о ночном видении, она сунула руку в пододеяльник и достала вот эту трешку. Эта история мгновенно всколыхнула весь дом. Высказывалось много вариантов, один невероятнее другого. Самая невероятная та, что приходил отец Веры, у которой родителей в помине не было, и оставил «подарок». Нам сообщили, что милиция организовала поиски ночного посетителя. Но его и след простыл! А мы, пошумев, посудачив на все лады, эту историю вскоре забыли. Но я-то ее помню до сих пор и знаю, что даже матери, оставившие своих детей, по ночам не ищут их. А уж отцы и подавно!..

Помню, как в то время кто-то принес нам танец чарльстон, и мы подолгу с увлечением его разучивали, разбрасывая ноги в разные стороны. После дневных обязательных трудов мы играли в ныне забытую игру городки. А вечерами в «конюшне» заводили радиолу, под которую танцевали «рио-риту» и другие фокстроты, также забытые теперь.

День обычно начинался с горна — разносилась песня: «Вставай, вставай! Порточки надевай, трусики натягивай, песенку затягивай!» До завтрака поднимался лагерный флаг. Мы все стояли, как на плацу. А с трибуны нам рассказывали, чем будет заниматься каждая группа. В каждой группе назначались дежурные по кухне, в обязанности которых входили чистка овощей, мытье посуды. Днем дети занимались уборкой огромной нашей территории, ходили в лес по ягоды. Огромной удачей было, если в этот день нам разрешали купаться в нашей купальне. В ней я, еще не умея плавать, делала вид, что свободно плаваю, держась за дно одной ногой, а другой, дрыгая, разбрызгивала воду. Этот трюк сыграл со мною однажды злую шутку. Был поход, в который обычно брали ребят, умеющих плавать. Я попала в их число. И вот на привале наш воспитатель разрешил нам купаться в незнакомой прежде реке. Я, как заправская купальщица, поплыла, держась по обычаю ногой за дно. И вдруг эта нога провалилась в яму, я начала тонуть, в страхе начала кричать. Я видела оцепеневшего воспитателя, он стоял с открытым ртом, из его рук выпал башмак, который он намеревался перед тем надеть. Выбора не было. И я научилась плавать. К берегу я плыла сама, ошалевшая от счастья плыть самой «без костылей», не имитируя это умение, и жить, жить...

Я быстро привыкла к новым условиям. Вырица была благословенным местом! Все лето мы бегали босиком. Ноги и руки были в вечных цыпках. А одевались мы в короткие трусы и бледно-голубые рубашки, которые почему-то назывались «бобочки». Позднее, когда я стала пионеркой, наш наряд дополнял пионерский галстук. И вот в таком виде мы ходили в местную церковь. Старушки цыкали на нас, гнали прочь. Мы же, как правоверные ленинцы, вели себя непотребно: смеялись, громко разговаривали. Ведь нас воспитывали в антирелигиозных традициях. В свободное от хозяйственных работ время мы собирались на стадионе. Мальчишки играли в футбол, а мы пели или водили хороводы. Один из них мне памятен и сейчас. Все становились в круг и начинали движение по кругу. При этом хором пели: «Там за лесом, там за перевалом, там цыгане весело гуляли...» Потом в круг выходил «цыган», и продолжалась песня: «Один цыган не хотел гуляти... Он цыганку себе выбирает». «Цыган» ходит внутри круга и высматривает себе «цыганку» Он уговаривает ее «стать его женою». А она почему-то не хочет. Чем уж закончилась эта, кажется, трагическая история — не помню. Знаю только, что никто нас к такому времяпровождению не понуждал, инициатива всегда рождалась внутри нас. Играли также в «штандор», когда кто-то подбрасывал вверх мяч, выкрикивая чье-нибудь имя. А тот должен быть поймать мяч.

Или игра в «собачку», когда все становились в круг и передавали друг другу мяч. А сидящие в круге должны были его поймать, и поймавший становился в круг вместо того, кто упустил мяч.

А вот история, связанная с реальными цыганами: жаркий летний день, огромное ромашковое поле, в котором раскинулся не бутафорский, а настоящий цыганский табор с кострами, кибитками и стреноженными конями. Из кибиток вытащены горы подушек мал мала меньше. Мы идем в лес. В руках каждого бутылка, в которую собирается черника. На обратном пути спасения от цыганят нет. Они с присущей их породе навязчивостью выцыганивают наши ягоды. И вся наша черника в их руках и ртах. Сейчас, пожалуй, такую экзотику с цыганскими кибитками не встретить.

Места эти были настолько благословенны, что до сих пор я как будто слышу полуденный шум сосен, обоняю их смолистый запах, вижу плавное течение Оредежа. Все лето на наших руках и ногах неистребимые цыпки. С этими цыпками связана первая в моей жизни смерть. Время от времени нам показывали кино. В Вырице в ту пору был единственный кинотеатр, дощатое здание, в которое из города киномеханик привозил фильмы. Мрачный дождливый день. Дорога превращена в сплошное месиво глины. Мы с Люсей Аникиной опаздываем в кино и потому бежим по ней сломя голову. Ноги наши босы. И тут я замечаю, что у моей спутницы ноги в глубоких царапинах. На них следы воспаления и грязь. Почему-то это вызвало у меня беспокойство, и я спросила ее, почему она не сходила к Фаине Яковлевне, нашему врачу. Она сказала, что была у нее, но та ничего не предприняла. Помню, что я ответила ей, что на ее месте вместо кино пошла бы еще раз к Фаине. Утром мы все узнали, что у Люси ночью поднялась высокая температура и она лежит в изоляторе. Антибиотиков то время еще не знало. Через два дня Люсю увезли в город. И вскоре нам сообщили, что она умерла от сепсиса. Это была первая в нашей жизни смерть. Нужно было найти убийцу. И мы с детской жестокостью обрушились на Фаину Яковлевну. Первая враждебная акция против нее заключалась в том, что мы развязали ноги приготовленной на обед курице. И вот представьте себе: освободившаяся от пут курица с громким квохтаньем бегаёт по поляне возле докторского дома. За курицей носится Фаина. А в стороне с хохотом и улюлюканьем стоим мы.

Но вот кончается лето, и мы возвращаемся в город. Детский дом № 65 находился в Ленинграде на улице Чайковского. Это был старинный двухэтажный особняк с карриатидами, парадным крыльцом, беломраморной лестницей и внутренними ставнями. На первом этаже стоял еще дореволюционный бильярд с зеленым сукном. Теперь я знаю, что особняк когда-то принадлежал министру императорского двора барону Фредериксу. После революции в нем было польское посольство, затем детский приют для беспризорников. А теперь в нем предстояло жить нам, советским детям. Школа наша находилась в старинном здании на углу улиц Чайковского и Потемкинской. Нас, детдомовцев, распределили по разным классам. Девочку, с которой я сидела за одной партой, звали Ира Ермаченкова. Весь первый класс она отдавала мне свой скудный завтрак. Он всегда был одним и тем же — это была булка с маслом, посыпанная сахаром. И я, будучи совершенно сытой, имея при этом талон в школьный буфет, беззастенчиво съедала этот ее завтрак. Так продолжалось весь год. Но во втором классе первого сентября она вновь протянула мне свой завтрак. И я, по-видимому поумневшая и обретшая зачатки совести, сказала: «Жри сама!» С какой стати мне нужно было обижать мою соседку по парте, отнимая у нее завтрак? Нас в детском доме кормили, как не кормили домашних детей. Но в нас жило неистребимое стремление противостоять «домошнякам», что выражалось в демонстративном хулиганстве. Так, например, когда физкультурные костюмы наши были в стирке и мы по этой причине осво-

бождались от занятий физкультурой, в классе все «домошнягинские» вещи перетасовывались и перетряхивались. И делалось это отнюдь не по злобе, а в силу какой-то нашей особенности и подсознательного желания вести себя нестандартно.

А между тем каждый из нас перед школой получал талон на десять копеек. В школьном буфете на него можно было купить молочный коржик или винегрет. Но мы поступали иначе. Этот талон мы обменивали у «домошняг» на деньги «по номиналу». После уроков на собранные таким образом деньги покупали в ближайшей булочной, что на углу Чернышевского и Чайковского (в новые времена это кафе «Колобок»), буханку наивкуснейшего карельского хлеба. По-братски делили его и поедали. Это был вкус вожденной свободы.

После занятий в школе время от времени мы собирали металлолом: ходили по домам, выпрашивая металлическую рухлядь у жильцов коммунальных квартир. Нам охотно давали старые кастрюли, чайники, примусы — так наш труд «вливался в труд нашей республики».

Раз в десять дней весь детский дом отправлялся в баню. Это была старинная петербургская баня в конце улицы Чайковского. При входе сбоку мраморной лестницы стояло чучело настоящего медведя. Все скамейки в мыльном отделении были тоже мраморные. В этот день мы меняли постельное белье, и каждый получал небольшой тряпичный мешок, в который укладывались майка, трико и чулки. И вот мы из конца улицы шествуем парами с этими самыми мешками в руках. В каждом отделении были автоматы, которые за две копейки выпускали струю одеколona. У кого-нибудь да находились эти копейки. И вот, намытые и освеженные, мы опять же парами отправлялись домой. Недавно с прискорбием я узнала, что вместо этой старинной бани стоит теперь то ли банк, то ли общество с ограниченной уголовной ответственностью. Ну, что сказать — или потребность в банях отпала, или трепетное отношение к своей культуре атрофировалось. И этим новым очагам культуры требуются больше банки с «обществами». Только старину жалко!

По воскресеньям нас водили в музей Ленина. А в детдомовском хоре преобладали песни о Ленине и партии. Я до сих пор могу их воспроизвести от начала и до конца. Но вот ведь как странно: однажды я заперлась в воспитательской уборной и почему-то стала осеять себя крестным знаменем. Что это было? Ведь взяться этому ритуалу было неоткуда. И это было долго моей тайной. Хотя вспоминаю, как на Пасху все двери в детдоме были закрыты, чтобы ни один из нас не устремился на крестный ход в рядом находящийся Спасо-Преображенский собор. И тем не менее мы выбираемся из окна второго этажа по водосточной трубе и идем-таки на крестный ход. Это действие почему-то притягивает нас, «нехристей»...

И здесь вдруг у меня обнаружили диктаторские наклонности. Дети, получавшие «гостинцы» от своих родителей, часть из них складывали на мою постель, и я по праву узурпаторши владела всеми этими богатствами. Воспитатели в наши отношения, как правило, не вмешивались. Думаю, такая иерархия существует во всех закрытых учреждениях, например в тюрьмах, везде, где сильнейший отбирает у слабых «свою долю». Не хочу сказать, что я была «сильнейшей», но, думаю, в любой социальной группе, в том числе и в детском коллективе, выстраивается некая иерархия. Так продолжалось до второго класса, когда мой авторитет пошатнулся, и не без конфликта я была свергнута с пьедестала. Помнится, это низвержение с пьедестала долгое время болезненной раной жило во мне. Так я получала свои моральные уроки...

Я сразу стала фавориткой одной из воспитательниц, Анны Алексеевны, той самой, что ввела меня в заблуждение относительно моего происхождения. Она жила во дворе нашего дома в Ленинграде. Была она одинокой. Говорили, что во время блокады ее муж и сын погибли. Почему-то ее выбор пал на меня. Когда после прогулки все де-

ти садились за приготовление домашних уроков, она забирала меня к себе домой. Ее комната была очень маленькой и при этом очень уютной. Посреди комнаты стоял круглый стол под абажуром. На столе передо мной стояли две вазочки с вареньем и сахаром. Они ставились для меня, но домашняя обстановка делала меня неловкой, скованной, почти деревянной: я боялась сделать лишнее движение. И как мне ни хотелось сладкого, я не смела дотронуться до угощения. Передо мной лежал букварь, я читала по нему, но внутри себя я была пронизана робостью. Ни милому, теплому свету домашнего абажура, ни приглашению отведать вожаделенные сласти не удавалось растопить во мне ледяную зажатость.

Когда мне приводилось кому-нибудь рассказывать о детдоме, лицо собеседника опускалось, становилось кислым и жалостливым. Меня это всегда забавляло. И тогда я начинала рассказывать о том, как нас великолепно кормили: мне вспоминается незабываемый вкус кулебяки или аромат рыбных котлет. Где бы я потом ни пробовала рыбные котлеты или сама пыталась их приготовить, но — где там! — никогда ничего подобного детдомовским «изыскам» не получалось. На это всегда есть объяснение — атеросклероз: в детстве и солнце было ярче, и трава зеленей. Так говорят те, кто хочет обесценить время, которое мы воспринимаем как утраченный рай. А какие были великолепные новогодние елки с обязательными подарками и непередаваемым запахом мандаринов! Да что там говорить — детство наше было наисчастливейшим! На первое мая на нашей улице, напротив Дзержинского райисполкома, собирался народ на демонстрацию. В этот день за завтраком всем выдавались французская булка и чайная ложка красной икры. Забрав эту роскошь с собой, мы отправлялись на демонстрацию, вооружившись иголками. Нас привлекало не всеобщее воодушевление, а намерение похулиганить в простодушной толпе. Мы занимались тем, что протыкали воздушные шарики. При этом если шарик проткнуть сбоку, то он взрывается громким хлопком, а если у самой перевязи, то он тихонько сдувается. И это был высший пилотаж!

В один из таких праздников в магазине, что на углу Пестеля и Литейного, сверкающего зеркалами в панелях из красного дерева, с массивными из этого же дерева прилавками, с дразнящим наши молодые ноздри неповторимым запахом шоколада, свежемолотого кофе и, по-видимому, не до конца вытравленной буржуазности, я нашла на полу деньги. Дыхание у меня сперло, как у той вороны. Страхась законного окрика в спину, зажав их в потном кулаке, вынесла их на улицу и только там, скосив глаза, разглядела счастливую находку — три рубля. Удача-то какая! И мы втроем пустились «трясти мощной», накупили всякой дряни. Это был первый опыт «своих денег».

Второй опыт был менее удачным. Таня Самодурова, девочка из моей группы, почему-то именно мне сообщила «по секрету», что у нее есть деньги, не объяснив их происхождения. Мы купили чудную немецкую куклу в магазине, что на углу Чернышевского и Чайковского. Но вот по школе разнеслась весть, что у учительницы пропали деньги. Подозрение сразу пало на мою напарницу, так как такая шикарная кукла не могла взяться ниоткуда. Вскрылись все обстоятельства покупки куклы. Самодурова была заклеена позорным именем воровки. А тень этого позора легла на меня как на сообщницу. Так приобретались наши нравственные уроки...

Сколько себя помню, внутри меня всегда звучала музыка — открываю ли я глаза при пробуждении или засыпаю. Я ощущала в себе некий певческий дар, который так и остался нереализованным. Как я любила петь! Но обнаружить свой дар не смела, мешали внутренняя зажатость и стеснительность. И пела я исключительно в туалетах, предварительно убедившись, что там никого нет. Там всегда была великолепная акустика. Боже, как я пела, наслаждаясь звучанием своего голоса! Казалось — я рождена, чтобы петь. И вот единственный опыт неудачного выступления надолго отвратил

меня от сцены. Но об этом позже. А вот случай, который если бы сбылся, как я неистово внутри себя желала, повернул бы мою жизнь иначе. Однажды по детдому разнесся слух, что в дирекцию обратилась Татьяна Гнедич — поэт и переводчик с просьбой об усыновлении ребенка. Выбор пал на Толю Архипова, мальчика из старшей группы. Мне вдруг захотелось, бог весть почему, чтобы выбор пал на меня. Было даже намерение пойти к директорисе и сказать ей об этом. Нет, конечно же, я этого не сделала, а только ходила возле директорской, не решаясь туда войти. И Толя был усыновлен. Много-много лет спустя я заглянула в Интернет и узнала прелюбопытную судьбу Татьяны Григорьевны Гнедич — поэта и переводчика. Оказывается, она потомок современника Пушкина — поэта Николая Гнедича, переводчика Одиссеи. Она была удивительным человеком, чистейшей идеалисткой, но, как требовало время, была еще кандидатом в компартию. Случайно на одном из семинаров в университете одним англичанином, который был вдохновлен ее переводами с английского, было сделано приглашение посетить Англию после войны. И эта чистая, наивная женщина, промучившись без сна всю ночь, явилась в партком, положила свой партийный билет, сказав, что не достойна быть кандидатом в партию, так как в помыслах своих «изменила Родине». В 1937 году она была репрессирована, сидела в тюрьме на Шпалерной. Имея незаурядную память, продолжала переводить с английского на русский поэму Байрона «Дон Жуан». Следователь обратил внимание на то, что она постоянно что-то про себя шепчет. Не поверил, что она по памяти переводит стихи. Посадил ее в отдельную камеру с бумагой и ручкой и приказал к утру представить ему перевод. Каково же было его изумление, когда он увидел на следующий день исписанные листки. Он оставил ее в отдельной камере, и до конца срока она занималась переводами. После освобождения она пришла к Михаилу Лозинскому, известному переводчику. Он приютил ее в своей коммунальной квартире. А прочитав перевод «Дон Жуана», настоял на том, чтобы рукопись был отнесена в редакцию. Книга была напечатана. Гнедич получила признание, отдельную квартиру и гонорар. Себе в сожители она взяла некую женщину, с которой была знакома по лагерю, а в мужья матерщинника и пьяницу Егория, которого обучила вместо матерного слова из трех букв говорить «Феб». Так что когда спрашивали, дома ли Татьяна Григорьевна, он отвечал: «А Феб ее знает!» Моему однокашнику Толе Архипову повезло. Он окончил университет, владел двумя иностранными языками: итальянским и английским. Умер в Италии в 1979 году. А Татьяна Григорьевна в 1976 году похоронена на Казанском кладбище в Пушкине. И вот я думаю: если бы Судьба подарила бы мне такую Татьяну Григорьевну, пусть даже с вечно пьяным Егорием, быть может, и певческий дар мой я сумела бы реализовать и не наделала бы многих глупостей. Но Судьба распорядилась иначе...

Однако продолжаю свое повествование. Наш детский дом занимал двухэтажный старинный особняк на улице Чайковского. Парадный вход в него всегда был закрыт. В описываемые мною времена вообще не принято было ходить через парадные. Для этого существовали черные входы для «кухаркиных детей». И вот однажды парадная дверь нашего дома была отворена для того, чтобы на носилках вынести двух моих однокашниц — смертельно пьяных девочек Аллу Бурченко и Веру Соколову. Алла очень хорошо рисовала; я любила смотреть, как под ее рукой возникали причудливые образы индейцев в нездешних одеждах. На ее рисунках скакали в неистовом беге лошади. А Вера была цыганских кровей — тоненькая с иссиня-черными кудрями, белокожая. Глаза же поражали какой-то нездешней синевой. И вот они забрались по винтовой ажурной лестнице в изолятор. Нашли там бутылку с денатуратом и выпили изрядное его количество. Помню, как их, мертвенно-бледных, бездыханных, выносили на носилках через парадный вход. В течение месяца весь дом жил в ожидании вестей из больницы. Предрекали, что они если и останутся в живых, то непременно ослеп-

нут. Но, к счастью, обе вернулись живехонькие, зрячие, и жизнь побежала прежним порядком... Когда мы были в младшей группе, нас после школы парами водили гулять по набережной Невы. Набережная выложена большими плитами. Я всегда опасалась наступать на грани этих плит. Казалось, если я ненароком наступлю на перекрестия плит, случится что-то страшное. Никто об этом не догадывался, а сама я об этом не говорила, считая это своей тайной. Уже тогда, по-видимому, у меня обнаружили фобические переживания, которые в дальнейшем перешли в панический страх, который обуял меня неожиданно-негаданно. В огромной спальне моя кровать стояла под белым плафоном на потолке. И это обстоятельство никогда не мешало мне когда-либо обращать на него внимание. И вдруг все мое сознание охватил страх, что этот плафон упадет на меня во время сна. Страх этот был настолько силен, что я не могла ни о чем думать, он поглощал меня всю. Во время самоподготовки, когда все ребята делали домашние задания, я тайком прокрадывалась в спальню и отодвигала кровать так, чтобы плафон не висел надо мной. Но каждый раз кровать возвращали на место. Бог мой, сколько страха, мучительных терзаний мне это доставляло! Конечно, можно было бы поменяться с кем-нибудь местами, но ведь для этого нужно было бы рассказать о своих страхах. И я молчала. Потом вдруг эти страхи исчезли так же, как возникли. А ведь я не одна была с невротической симптоматикой. Был мальчик в нашей группе. Имя у него было необычное — Симук Салахаддинов. Все мы потешались над ним, когда во время самоподготовки, если у него что-то не получалось, он бил себя кулаками по голове и кричал: «Дурак, идиот!» Мистический ужас охватывал нас, когда тот же Симук, подобно иранским суфиям, впадал в транс и начинал раскручиваться вокруг своей оси, потом так же мгновенно падал и засыпал. Что делать, все мы были немножко с «червоточинкой», проблемными детьми...

Ночами в девчоночьей спальне после ухода ночной няни в наших головах расцветали безумные фантазии о черных руках, проникающих сквозь стены и выхватывающих души у бедных трепещущих девочек и прочей чепухе. Но о безудержной фантазии девочки по имени Алла Боксер не упомянуть не могу. Все, что она живописала, я воображала истинным. Так, например, она объясняла происхождение своей фамилии: ее мама выступала боксером на ринге, и за многочисленные победы получила «ящик орденов и шкаф медалей». В темноте я видела вживую шкаф, из которого вываливались медали и сундук орденов. Так она объясняла происхождение маминой фамилии Боксер. Но самой веселой басней была история о маминой подруге с фамилией Трехжопкина. Эта фамилия так смущала носительницу этой экзотической фамилии, что она поменяла ее на Одножопкину... В одну из таких ночей в мое сознание проникла мысль о смерти. В крошечной темноте, где раздавалось мерное дыхание спящих, я вдруг поняла, что когда-нибудь умру. И это меня наполнило такой безудержной безысходностью и тоской, что я, накрывшись одеялом, беззвучно рыдала. Я представляла, что исчезнет все, что вижу, чувствую — и эта спящая спальня, и вчера, и завтра, и все-все. Проплавав, я заснула. А наутро я была прежней. И никогда потом с такой трагичностью эти мысли меня не посещали. Хотя теперь я все время помню о смерти, и это всего лишь примиряет меня с жизнью.

В пятом классе я тайно была влюблена. А надо сказать, что в эту пору на меня магически, почти парализующе действовали мужские голоса. Литературу нам преподавал Владимир Николаевич Сироткин. Он был очень некрасив: невысокий, с лицом, как бы слепленным из хлебного мякиша, большой рот как бы всегда растянут в постоянной улыбке, глаза прикрывали очки с толстыми линзами. В общем, похож он был на Телевичка — героя тогдашних детских вечерних передач. Но голос его был необыкновенно красив — низкий, с какими-то бархатными, чарующими интонациями. Любя литературу, и особенно чтение стихов, хорошо их запоминая, будучи вызванной к до-

ске, я цепенела. Голова моя наполнялась каким-то ватным туманом, сквозь который до меня доносился участливый голос моего кумира, только его интонации, а строки стихов путались и исчезали. Причем не будучи вызванной к доске я вдохновенно декламировала стихи. Был еще один голос, который магически действовал на меня. Это был мальчик из старшей группы по имени Толя Туголуков — большая голова на коротковатом теле. Его еще не было в обозримом пространстве, и звучал только его густой, звучный бас. При этом внутри меня происходило смятение, и я цепенела. Не знаю, догадывался ли он о производимом на меня эффекте, потому что я в его присутствии краснела, что еще больше повергало меня в смущение. Он, бедняга, наверно, думал, что я в него влюблена. Но нет, я влюблялась только в голоса. Позже знавала я еще одного человека. Это был муж моей подруги музыкант Гена Степанов. Его виртуозная игра на гитаре и мастерское исполнение русских романсов всегда были предметом моей тайной зависти. Он был профессиональным музыкантом. Играл на гитаре в ансамбле «Поющие гитары», а в новые времена в «Литературном кафе» на Невском. Внешность его была импозантной. Он был красив, вальяжен и похож на татарского мурзу. Он виртуозно пел романсы своим бархатным, обволакивающим голосом. Но я никогда не смела вторить ему в пении, хотя душа рвалась «слиться в экстазе»...

Воспитывали нас в идеологически правильном направлении. В репертуаре детдомовского хора были песни, восславлявшие мудрость вождей и негибаемую волю народа в стремлении к светлому будущему. Я до сих пор могу воспроизвести их со всеми нюансами: «В каждом деле с нами наш любимый Ленин, и живет он вечно в памяти людской. Светоч нашей жизни, солнце поколений, сердце нашей партии родной» и прочие песни. По выходным мы ходили в музей Ленина, в кино, а вечером были танцы под радиолу. Танцевали девочки с девочками вальсы и фокстроты. Из Театра музыкальной комедии приходил артист Владимир Николаевич Кашкан. Он поставил с нами несколько танцев для двух спектаклей. Один я хорошо помню — это «Вальс цветов» на музыку Чайковского из «Щелкунчика». Меня из программы быстренько вычистили за нестандартное поведение. А все, кто участвовал в спектаклях в театре, получали деньги, на которые, помнится, нам купили китайские купальники. Свой купальник я благополучно забыла под матрасом на турбазе в Баку, куда нас возили по обмену ребятами из Азербайджана.

Не все дети у нас были так называемыми круглыми сиротами. У иных вдруг обнаруживались родители. Запечатлелась такая сценка: в спальне под кроватью ползает девчонка, а женщина ласковыми интонациями зазывает ее пойти с нею домой. Это ее мать. А та в ответ кричит ей из-под кровати: «Уйди, дура!» Водилось так, что иногда нас приглашали в семьи. Помнится, однажды я оказалась в таком семействе, где меня усадили за стол. Пили чай с песочным пирогом. В меня же вселился жуткий ступор: я как бы одеревенела, не могла вымолвить ни одного слова. До пирога ли мне было! И надо же было такому случиться, что из-за одного моего неловкого движения свалилась на чайный стол висящая до того на стене картина. Меня утешали, но я уже впредь никогда не ездила «в гости».

В одиннадцать лет я обнаружила кровь на трусах и страшно испугалась. Это было вечером, перед сном. В смятении рисовала в воображении завтрашний приход к медсестре. Нужно будет признаться «в стыдном». И завтра же меня отправят в больницу. В спальне стоял невыносимый гвалт, который всегда предшествовал отходу ко сну. Мысленно я прощалась с прежней жизнью. Спасла меня все та же Таня Самодурова. Она была старше нас. А мой ужас перед «завтра» принуждал меня сообщить ужасную тайну кому-нибудь. Самодурова сказала мне, что «все в порядке, такое теперь будет повторяться ежемесячно». Я была разочарована. Надо же — я такая же, как все. Не знаю, как с этой проблемой справлялись другие девочки, я же в школе на перемен-

как в пустом классе собирала промокашки в чужих тетрадах. Наверное, в семьях, как правило, с девочками говорят об этой проблеме. Кстати, эта детская травма побудила меня загодя поговорить об этом с моей внучкой...

Так продолжалась наша жизнь. Мы ссорились, мирились. Но всегда были стеной друг за друга. Зимой мы гуляли в Таврическом саду, летом выезжали в Вырицу. В 1962 году наш детский дом расформировали. Помню какое-то напряжение, суету, волнение в детских кругах. В стране тогда была тенденция — закрывать детские дома и открывать интернаты. В интернатах дети и жили, и учились. И потом в них предполагалось брать плату с родителей. Моя воспитательница Анна Алексеевна, та самая, что рассказала мне о моем героическом отце-летчике и злосчастной матери, умершей в родах, предложила меня удочерить. Не хотелось мне ее обижать, но я категорически отказалась. Она была одинока. Но тогда меня влекло что-то новое, неизданное. И я со всей детской жестокостью отказалась. И вот нас, сорок детдомовцев, отправили во вновь открытый интернат в Стрельне. Стрельна тогда представляла собой загородное, зеленое предместье Ленинграда. Вокруг интерната было полно яблоневых садов. И они-то влекли нас неукротимо. Самым старшим классом тогда был наш седьмой. Жизнь в интернате отличалась большей вольницей. Так, например, разрешалось иметь свою одежду (а в детском доме нам ее выдавали в виде смены только после бани). И жили мы в комнатах по четыре человека. Зато в выходные, когда те же «домошники» разъезжались по домам, наступало наше детдомовское бесшабашное буйство. Мы отправлялись в соседние сады за яблоками. Нагружались ими. При этом, конечно, наносили зримый ущерб соседям. Однажды старшая воспитательница Марьяна Яковлевна вызвала меня к себе и потребовала прекратить набеги на соседей. Почему именно меня? Я ничем не отличалась от остальных. Но вот отчего-то она обратилась ко мне, как будто это я возбуждала народ на эти «подвиги». Зиму мы прожили мирно. Я занималась фехтованием и баскетболом, много читала и еще играла Бабу Ягу в местном Доме культуры. Здесь было неожиданно замечено, что у меня есть голос. И мне нужно было со своим даром выбираться из подполья, то бишь из сортиров, где я по-прежнему любила петь. В новогоднем концерте я должна была петь «Светлану» из «Гусарской баллады». Мне предстояло впервые публично выступить в концерте. Бог мой! Что со мной делалось! Теперь-то я знаю, что у меня был невроз, социофобия. В страшном сне не могло мне привидеться, чтобы легко и непринужденно выйти на сцену и очаровать всех своим пением. Все мое сознание было заполнено предстоящим испытанием. Нет, это было не испытание, а настоящая мука — мученическая, невыносимое страдание. И это при том, что на генеральной репетиции наш концертмейстер, прослушав меня, сказала, что «это будет лучший номер». В желании обрести хоть какое-то душевное равновесие, я постоянно искала пустынные места и пела, пела... А утром в день концерта мне мои соседки по спальне сказали, что я и во сне пела. И вот наступил тот зловеющий день, который ознаменовался сокрушительным провалом. Вот я слышу: объявляют мой номер. Ничего вокруг себя не видя (все сливалось в каком-то крошечном тумане), я не просто вышла, а вытащила себя на предательски дрожащих, негнущихся ногах на сцену. Зазвучало пианино. Голос мой сорвался, я перепутала все слова и, махнув рукой, убежала со сцены. Вослед мне неслась топот ног, смех, свист. А я рыдала в туалете. «Ты чего рыдаешь? Не ты ли там сейчас пела? — просила меня вошедшая в туалет нянечка. — Не плачь! Не все сразу становятся артистками», — мудро заметила она. Где ей было знать, что никакой артисткой я быть не собиралась. А всего лишь впервые хотела обнародовать свой певческий дар, выйти наконец из укрытия. Только с годами я уже не стеснялась напевать про себя, не страшась людей. И перестала петь по сортирам. Но дар мой так и остался не востребованным. Ну что ж, может быть, в следующей жизни мне повезет больше...



Есть одна особенность в проживании в детских «приютах»: ты никогда не можешь остаться наедине с собой. С возрастом эта потребность становилась все более необходимой. Укрыться от ежедневного мелькания одних и тех же лиц, с которыми ты общаешься, ешь, спишь, готовишь уроки, играешь, ссоришься, миришься, можно было только в библиотеке или в медицинском кабинете. Только читая книги, отрешаясь от этой суеты и возрастая, как я теперь понимаю, в своем развитии. Именно книги сделали меня тем, чем я стала. Впрочем, приходилось слушать упреки в излишней книжности и наивности. Что делать! Сказано: «Всем лучшим в себе я обязан книгам». Именно они воспитали во мне любовь к слову, и в первую очередь к русскому слову, как ни пафосно это звучит. Помнится, одна из воспитательниц Раиса Григорьевна увидела у меня Ремарка «Три товарища», забрала книгу и закрыла ее в шкафу. При этом сказала, что «только испорченные девочки читают такие книги». Но книгу эту я потихоньку выкрала. Потом, будучи взрослой, я еще раз ее прочла и так и не поняла, что Раиса Григорьевна имела в виду под испорченностью. «Испорченными», как я теперь понимаю, мы не были. Наше представление о мире ограничивалось школой, взаимоотношениями друг с другом и общегосударственной идеологией. Насколько я могу помнить наши представления о полах, сексе, матерной брани — все, чем богата наша современная жизнь, были совершенно стерильными.

Вкравшись в доверие к медсестре, я могла подолгу оставаться в медицинском кабинете. Тем более что давно мною была избрана будущая медицинская профессия. Дело в том, что медсестра сочиняла меню, в котором учитывались калории. Знакомство с ними в будущем сыграло зловещую роль в одной истории, о которой будет рассказано впереди.

Недалеко от интерната был парк, куда мы ходили лазать на «графские развалины». Так назывался разрушенный старинный дворец. Лазать по нему было отчаянной смелостью, потому что эти развалины представляли собой руины. Пройти по кромке карниза на высоте третьего этажа, балансируя на перекрытиях, при этом страшно взглянуть вниз, — это было безумным испытанием. Но тем не менее мы отправлялись туда, чтобы, по-видимому, испытать свои атавистические способности. И вот однажды мы вдвоем с Верой Соколовой, с той самой синеокой цыганкой, о которой я рассказывала прежде, отправились туда. Стояла поздняя осень. Конструкции дворца обледенели. И я вижу, как Вера летит спиной вниз, не удержавшись на карнизе. Она летит спиной на камни. В ужасе я прыгаю к ней и вижу ее бездыханной, бледной, без признаков жизни. На мое счастье, в парке я обнаружила грузовую машину. Шофер повез Веру в больницу, в Петергоф. Она осталась жива, но получила сотрясение мозга и травму позвоночника. Через много лет с Верой меня еще раз столкнула Судьба, после чего я ее больше никогда не видела. Случилось так, что я уже жила в коммунальной квартире, училась в медицинском институте. Раздается телефонный звонок, и низкий женский голос представляется той самой Верой. Приглашает меня к себе в гости. Я же, будучи всегда в ожидании увидеть хоть кого-то из моих бывших однокашников, с радостью еду к ней. Звоню в дверной звонок. Открывается дверь. На пороге полная женщина с испитым лицом, в котором едва узнаются черты прежней синеокой цыганки Веры Соколовой. За ней густой шлейф табачного духа. Трубным прокуренным голосом она кричит в глубь квартиры: «Мин херц, Ольга Щукина приехала!» В комнате, синей от табака, на постели лежит «мин херц» — неопределенного возраста мужчина. Помнится, что с Верой мне не удалось пообщаться, потому что ее друг, узнав, что я будущий врач, затмил своей экзотической личностью все мое внимание. Он сообщил мне, что он «вор в законе». И подробнейшим образом погрузил меня в полную воровской романтики свою жизнь. Я ушла от них, отягченная новыми знаниями

и пропахшая насквозь табачным дымом. И вот здесь мне вспоминаются строки: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...»

И вот я подхожу к страшной психологической травме, которую мне нанесла та самая старшая воспитательница, не к ночи будь помянута, Марьяна Яковлевна. Однажды в один из понедельников, на всегдашней интернатской линейке, когда все население интерната слушало программу мероприятий на неделю, я вдруг слышу свою фамилию. Вслушиваюсь. Марьяна говорит, что в седьмом классе есть девочка Оля Щукина, которая обнаруживает психические расстройства. И она призывает всех со мной не водиться. До того я вполуха слушала все, что говорилось со сцены. Когда же до меня дошел смысл этих зловещих слов, все внутри меня оборвалось и заледенело. Этот ужас не изжит мной до сих пор, когда я живу на свете очень-очень давно. Тем более что ничто не предшествовало такой выходке воспитателя. Разговор об яблоках, ущербе, который мы наносим окрестным садам, был давно, еще в начале года. На дворе была весна. Училась я ровно, особенно ничем не выпячивалась. И вот эти слова, брошенные в мой адрес — обидные, несправедливые, — прозвучали для меня зловещим ударом Судьбы. Я что-то прокричала, вроде «Это неправда, вы сами сумасшедшая!», и убежала прочь. В нашей комнате по окончании линейки девчонки утешали меня банальными словами, но я-то знала, что прощения Марьяне нет. Оставаться здесь было невыносимо. Среди ночи я проснулась, засунула все свои вещи под одеяло. На мне было школьное коричневое платье, мальчишеский школьный ремень с пряжкой со звездой и коричневый свитер. Проснулась Алла Бурченко. Таинственным шепотом она сказала: «Я знаю, Ольга, ты собралась бежать. Тебе понадобятся деньги». И она протянула мне четырнадцать копеек. Деньги были скудные. Но я была благодарна ей за участие. Деньги я положила за пряжку ремня. Интернат спал. Тихонько спустившись с лестницы в холл, я увидела спящую няню. Входная дверь была закрыта на ножку стула. Я поднялась на этаж выше — окно было заколочено гвоздями, та же картина была на третьем этаже. И только на четвертом этаже окно было свободно. Я вылезла на лоджию. Оттуда на рядом находящуюся водосточную трубу. Она обрывалась над землей примерно на метр-полтора. Но выбора не было. Прыгнув вниз, я подвернула ногу и, хромя, поплелась на перрон. Было слишком рано. Поезда еще не ходили. Пришлось идти в парк аттракционов. Там я улеглась в лодку и заснула. Проснувшись, я увидела наших ребят, которые бегали по парку, они искали меня. Мимо пробежала Алла Бурченко. Из лодки я прокричала что-то подавленным голосом. Выбравшись из лодки, я побежала на перрон. За мной неслась Бурченко, не столь стремительно. На мою удачу, на перроне стояла электричка, готовая вот-вот захлопнуть двери. Как только я в нее вбежала, двери захлопнулись. А вместе с ними захлопнулись невидимые двери в прошлое, в этот ужас, прилюдное оскорбление, нанесенное мне «старшим воспитателем». Я перешла черту. Возврата не было. Да и бежать было некуда. Целый день я сидела в электричке. Соседи что-то жевали, а я глотала голодные слюны и не представляла, что буду делать дальше. Электричка ходила до Балтийского вокзала и обратно в Ораниенбаум. Меня заметил машинист. Он погрозил мне пальцем и строго сказал: «Рано ты начала, девочка». Нужно было выбираться на перрон и начинать новую жизнь. И я поплелась на вокзал. Там я заснула в предбаннике туалета. Какая-то женщина разбудила меня, сказав, что меня вызывают на улицу. Полностью не осознав, что как будто некому меня ждать на улице, я вышла и тут же была схвачена двумя милиционерами. Почему-то мне тогда все представлялось, как в приключенческом фильме. И я побежала. Смешно было бежать голодной, хромой, никому не нужной. А тут вот понадобилась милиции. Когда меня привели в детскую комнату на вокзале, занесли в журнал придуманные мною имя и фамилию. Зачем я дурачила милицию? Совсем не затем, чтобы меня не нашли — деваться-то было некуда. Просто

это был тот же эпизод из приключенческого фильма. Сидела я в комнате, где топилась печка. Со мной сидел мальчишка. Он рассказал, что дома вечно пьяные родители, и этот его побег уже не первый. Так я впервые увидела не счастливого «домошнягу», какими я их представляла прежде, и поняла, что многим из них живется значительно хуже. Наутро в комнату заглянул молоденький милиционер. У него было, как мне показалось, доброе, простое лицо. Он спросил нас: «Ребята, а вы что-нибудь ели?» И он принес нам булку и горячего чаю. Откуда он взялся, этот добрый самаритянин? И имя у него было под стать милое и простое — Вася. Это были вегетарианские времена, когда общество было ориентировано на детей, дети свободно, как голуби, гуляли во дворах, в школах не отстреливали одноклассников и учителя не оказывали услуги по образованию, а были просто на стороне добра. И доказательство тому множество детских пластинок, детских передач по радио и ТВ. Интересно, как бы вели себя современные полицейские в подобной ситуации? Вопрос повисает в воздухе.

После чая мой товарищ поневоле предложил закурить. Это был новый опыт. Я никогда не курила и сразу закашлялась. Первый опыт курения мне совсем не понравился: из глаз лились слезы, в горле саднило. Как вдруг в комнату кто-то заглянул и сказал, что к моему напарнику пришли родители. Он поспешно сунул мне сигареты и вышел. Больше я его не видела. Куда было девать злосчастную коробочку с сигаретами? И я сунула ее под пряжку школьного ремня, где должны были лежать те самые четырнадцать копеек, подаренные мне Аллой Бурченко в качестве вспомоществования. Дальше я сидела в комнате одна. Приходили какие-то люди, смотрели на меня, качали головами, говорили: «Это не она» — и уходили. Бесконечно длить свое инкогнито было неразумно, и я раскрыла «все явки и пароли» — сообщила настоящие сведения о себе. И на следующий день в милицию явилась наша классная руководительница (вот ее имя я запомнила). Она сказала, что мне нужно возвращаться в интернат: «Тебя ждут все ребята». Я понимала, что это грубая уловка, еще один дурацкий педагогический трюк, и категорически отказалась. «Куда же ты поедешь?» — спросила она. «Только в детский дом!» — ответила я. На том и порешили. На следующий день я была переведена в Пушкинский детский приемник-распределитель. По иронии Судьбы он находился на той же улице Революции, где был дошкольный детский дом, откуда начался мой дрейф по детским домам.

Вот здесь я наконец поняла, что такое тюрьма. В первый же день меня повели к врачу. Она сидела за столом и что-то писала. Не взглянув на меня, стала задавать отрывистым тоном вопросы: «Куришь? Пьешь? С мальчиками жила?» На мой робкий отрицательный ответ угрожающе сказала: «Посмотрим! Раздевайся!» В страхе от ее грозного голоса я расстегнула ремень, и из него вывалилась та самая злосчастная коробочка с сигаретами. Я оцепенела. На звук от ее падения докторша оглянулась: «Что у тебя там?» Увидев сигареты, она угрожающе хмыкнула: «Ну-ну! А говоришь, с мальчиками не живешь. Раздевайся! Что встала?» После осмотра меня отправили в группу. В первый же день меня побили в туалете, разбив очки, изрядно помяв мне бока. Здесь существовал тот самый закон сильнейшего. Когда на шум в туалет вошла воспитательница и потребовала объяснить, что происходит, я промолчала. Оказалась «стойким оловянным солдатиком», не выдала своих обидчиков и тем спасла себя от новых побоев. Режим в приемнике был суровый: в туалет, в столовую, в баню мы ходили только парами. Дважды приказов не отдавали. Днем в группе вслух читали «Это было под Ровно». В один из дней некая девчонка решила убежать и застряла в форточке. Поступок был идиотский. Наша группа находилась на втором этаже, и было безрассудством бежать таким образом. В результате всем было объявлено об отмене свиданий с родными. Еще раз приезжала ко мне безымянная воспитательница из интерната, чтобы напомнить, как без меня «скупают ребята». Я и на этот раз заявила, что не вернусь

в интернат. А прощаясь, сказала, чтобы Марьяне были переданы мои слова, что «до конца своих дней я буду помнить об ее сволочном поступке со мной». И в этом было что-то театральное, как бы продолжение приключенческого фильма. Ну так что ж, я действительно помню об этом. И обида за многие годы мною не изжита. Я все время пытаюсь провести параллель с современным отношением к детям. Убеждена, что такая история не осталась бы без продолжения: метод «шокового воспитательного воздействия» в настоящее время, скорее всего, был бы немислим. Зато он, быть может, неосознанно определил мою будущую профессию. Но об этом потом. А сейчас мне был задан вопрос: «Куда же ты поедешь?» Не задумываясь, я ответила: «Только в детский дом!» Теперь, когда я пишу эти записки, я пытаюсь представить себе «добрейшую» Марьяну Яковлевну, которая так круто поворотила судьбу тринадцатилетней девочки. Она не может не помнить этого «педагогического» случая. На что она рассчитывала? Что я проглочу обиду и, оболганная, останусь в интернате? Смирюсь с клеймом «сумасшедшей», и все пойдет, как прежде? На самом деле мой побег был спровоцирован ею. Он логически вытекал из предложенных «старшим воспитателем» обстоятельств. Но я об этом не жалею...

Наконец настал день, когда за мной явились два бравых милиционера и повезли меня. Куда? Зачем? Никто не посвящал меня в это. А сама я вопросов не задавала. Я рада была покинуть этот жуткий тюремный приют. Автобус вез нас в другой район города Пушкина. Мои спутники отправились в дирекцию, а осталась во дворе дома.

И вот стою я у трехэтажного двухцветного здания за высокой железной оградой. Когда же я взглянула на вывеску, то похолодела. На ней значилось, что это «специальный детский дом». Все, подумала я, доигралась! Неоднократно мои воспитатели грозились, что мне место в колонии. Ну что ж, буду «исправляться»! Дом утопал в густой зелени цветущих деревьев. Я остановила пробежавшего по двору мальчишку, спросила, почему дом называется специальным. И он охотно пояснил, что детский дом устроен после войны, раньше назывался «детский дом имени Сталина». В него отправляли детей-сирот воинов, погибших на войне. И тут меня осенило, что еще, живя в дошкольном детском доме, нас, маленьких, приводили сюда. И тогда во дворе стоял в полный рост Сталин. Помню, что вся его фигура была белого цвета. Должно быть, она была изваяна из гипса. Теперь вместо Сталина был разбит цветник. Вот таким образом я ухватила частицу сталинской эпохи... Меня позвали к директору дома. Это был пожилой человек. У него был усталый вид, спокойная манера говорить. Звали его Абрам Ильич Яковсон. Я сразу обратила внимание на неправильности в его речи. Так, например, он говорил «наверное» с ударением на последний слог и еще какие-то особенности, которые я ни у кого ни раньше, ни потом не слышала. Но вся его манера говорить очень располагала к себе. Перед ним на столе лежала папка. Он сказал мне, что эта папка — мое личное дело. Он его не будет принимать в расчет, а будет судить обо мне по тому, как я буду себя вести. Спросил меня, кем бы я хотела стать. И я впервые вслух произнесла еще не вполне вызревшее во мне желание стать врачом. «Ну и хорошо, — сказал он, — я тебе помогу. Только не подводи меня. Веди себя и учись хорошо».

Меня определили в среднюю группу. В этом 1963 году я должна была пойти в восьмой класс. Воспитателем в нашей группе была Наталья Николаевна. Внешность ее была примечательна: глаза ее буквально вылезали из орбит. Что это — патология или природная особенность, тогда мне было понять трудно. Ничего дурного она не делала. Но бог весть почему у меня с нею отношения не сложились. Я сразу же дала ей прозвище Жабя и не скрывала этого, то есть вела себя скверно. Конечно, Наталья Николаевна могла бы пожаловаться директору, которому мною было дано обещание в благонадежности. Но она почему-то этого не сделала то ли из-за природного благородства, а может быть, считала, что я все-таки образумлюсь. Но этого не случилось. И весь год

я вела себя «как последняя стерва»: игнорировала все ее замечания, грубила. Теперь понимаю, что я в ту пору заслуживала хорошей взбучки. Но Наталья Николаевна стоически держалась. Было мне тогда тринадцать лет. Возраст самый «девиантный», когда подростки пускаются во все тяжкие. Бог весть, каких бы глупостей я наделала, если бы меня не настигло одно испытание.

А случилось вот что. Наш детский дом стоял в самом сердце города Пушкина, на перекрестке Октябрьского бульвара и улицы Коминтерна. В конце бульвара, за Египетскими воротами, было у нас четыре гектара земли. Они были устроены таким образом, что по одну его сторону росли плодовые деревья и кустарники, а по другую овощные культуры. Обычно после школы нас отправляли на сельхозработы. В один из таких дней наш агроном Дина Афанасьевна приказала мне взять мотыгу и окучивать крыжовник. Что-то мне в ее тоне не понравилось, и я отказалась следовать ее приказанию. Произошло это в какую-то секунду: рассердившись, она ударила меня мотыгой. Удар пришелся по правому колену. Я инстинктивно прикрыла его ладонью. А когда отвела ладонь, из линейного разреза хлынула кровь. Дина Афанасьевна оторопела, спросила: «Что это у тебя?» — «Как что?» — ответила я. — «Это вы меня сейчас ударили». Она, по-видимому, даже не осознала своей воспитательской запальчивости. Когда она перевязывала мне ногу, то ненароком уронила: «Какая у тебя нога толстая». Все! Здесь меня замкнуло. С этого момента я захворала состоянием, которое на психиатрическом языке называется реактивной нервной анорексией. Никому не говоря, я стала отказываться от высококалорийных продуктов: хлеба, сахара, макарон и прочего. Задачу эту мне облегчало то, что, интересуясь медициной, я постоянно стремилась «помогать» нашему детдомовской медсестре Доре Яковлевне. Она ежедневно составляла меню, а для этого высчитывала калории. Я часто оставалась в кабинете одна и тогда погружалась в новое для себя знание. Если раньше я ела все, а кормили нас четыре раза в день и наивкуснейшей пищей: помню незабываемый вкус рыбных котлет, кулебяки и пирогов. И от всей этой роскоши я теперь отказывалась. Теперь, сидя за одним столом со своими однокашниками, я норовила отдать «высококалорийное» блюдо соседям. Через некоторое время на меня стало больно смотреть окружающим. Я замечала жалостливые взгляды на себе. Но я-то тогда упивалась своей «стройностью» и продолжала отдавать «калорийные» продукты соседям по столу. В результате я превратилась в настоящий «ходячий скелет». «Ходячий» — сильно сказано, я не ходила, а брела в полузабытьи. Сознание мое было тогда затуманено. Я автоматически ходила в школу, с большим напряжением делала уроки. Дни проходили один на другой. Наконец меня призвали к ответу: «Почему ты худеешь? Может, ты влюбилась? Как ты себя чувствуешь?» Где им было понять мою тайную страсть к совершенству. Меня никак не смущал мой внешний вид — я ведь делалась «стройней» день ото дня. В психиатрии это называется анозогнозия — это как слепое пятно. Смотришь, но не видишь. И вот Дора Яковлевна ведет меня к неведомому дотолле врачу — гинекологу, потом к фтизиатру. И теперь во время еды за моей спиной стоит воспитатель и зорко следит, чтобы я не отдала «крамольный» кусок соседям по столу. Но я стояла на своем и продолжала таять. Жизнь из меня уходила с каждым днем. Конечно, были срывы. Так, однажды я дежурила по кухне. В обязанности дежурных входило мыть посуду, уборка столовой. Но зато можно до отвала объедаться чем-нибудь вкусеньким, пока повариха стояла к тебе спиной. В тот день были пироги с капустой. И я изменила своим принципам и с вожделием ела и ела кусок за куском. Возмездие настигло меня ночью: открылась рвота, да такая, что потом уже в свои благополучные годы я долгое время не могла не только есть, но и вдыхать запах пирогов с капустой. Однажды моя подружка Руслана Кондакова захворала и попала в изолятор. Я пришла ее навестить: постель разобрана, рядом на стуле стоит тарелка с вишнями. А Русланы нет.

Стою, не свожу глаз с тарелки. Покричала Руслану — не отзывается. Только я запустила руку в вишни, из-под кровати с хохотом вылезает больная. Вот такая проверка «на вшивость».

Между тем кончался учебный год. Я заканчивала восьмой класс. Прошел слух, что и этот детский дом закрывается. Моя мечта стать врачом терпела фиаско. И вот меня приглашает к себе в кабинет Абрам Ильич и говорит: «Ольга, я обещал тебе помочь стать врачом. Не моя вина, что детский дом будет закрыт. Весь ваш выпуск пойдет в ПТУ. Я хотел бы, чтобы ты продолжила учебу». Дорогой, незабвенный Абрам Ильич! Он сдержал свое слово. Я получила справочник, в котором отыскала медицинское училище в Выборге. Там было общежитие. Это сейчас выходцам из детдомов предоставляют квартиры. А наш удел был жить в общежитии. Сколько я перевидала несчастливых женщин в возрасте, которым Судьба не подарила встречи с ленинградцем, который бы увел свою подругу из общаги. Некоторые из них потихоньку прикладывались к бутылке. Да и что говорить, незавидная доля ждала этих женщин. На глазах у них молодые соседки выходили замуж и покидали общежитие. А удел этих стареющих женщин оставался тем же... И вот настал день, когда я впервые покинула детский дом, но на время. Только для того, чтобы съездить в Выборг для сдачи экзаменов в медучилище. Меня провожал весь дом, все ребята. Абрам Ильич произнес прочувствованные слова. Меня снабдили продуктами и какой-то суммой денег. Ветер свободы подхватил меня, «легкую и звонкую», и помчал на Финляндский вокзал. Я впервые — не парами, не в связке с кем-либо — ехала в другой город, и все дальнейшее уже зависело только от меня. Тут-то и произошло чудо: наконец я излечилась от своей изнурительной болезни — анорексии. Я перестала контролировать себя, свою диету. Все деньги я тратила на мороженое и конфеты, я могла сесть и съесть целый белый батон. И никакие калории уже не смущали меня.

Моими соседками по общежитию были девочки из области. Они говорили на каком-то чудном наречии с ударением на «о». Откуда-то в нашей компании появилась местная выборжанка по имени Гаюшан. Ее отец был единственным китайцем в Выборге. Жили мы коммуной: жарили домашнюю картошку на сале, пили чай из сушеной черники. Предстояло сдать три экзамена: диктант, литературу и биологию. Поскольку у меня было хорошо с орфографией, то мы договорились, что во время диктанта я буду кашлять в тех местах, где нужно ставить запятые. Для меня это была забава, приключение. Но все это баловство было мгновенно распознано и прекращено. Сурово и непреклонно «диктатор» заявила, что выставит за дверь, если я не прекращу кашлять. Я тут же поперхнулась. В общем, экзамены я сдала. Домой, в Ленинград я возвращалась счастливая. Все подивились моему поздоровевшему, обновленному виду. Интересный опыт я проделала с собой: ведь только стоило сменить обстановку, набраться новых, доселе не изведанных впечатлений, как анорексия истаяла, «как сон, как утренний туман». Абрам Ильич был искренне рад моему успеху. Он горячо поздравил меня с «победой». Много лет прошло, прежде чем я по печальному поводу оказалась на пушкинском Казанском кладбище. И там на доске, где указывались все значимые захоронения, я увидела фамилию Якобсона Абрама Ильича. Накрапывал дождь. Меня торопили мои спутники. Но я не смела уйти, не найдя могилы моего директора. И все-таки я ее обнаружила: сначала я увидела горизонтальную плиту, на которой была выбита надпись «От воспитанников 49 детского дома». Так спустя много лет я мысленно вернулась в то незабвенное время, в котором определялся мой дальнейший путь. И выбрать этот путь мне помог Абрам Ильич. Светлая ему память! А в детский дом уже слетелись директора ПТУ. Они обволокли наших ребят посулами и обещаниями. Так однажды я уловила, как один из них уговаривал девчонок в строи-

тельное ПТУ: «Вы будете жить в общежитии на Невском, работать в белом халате». Довольная, что избежала этой участи, я бросила фразу: «Все это враки! Какие белые халаты, когда вас заманивают в маляры». На меня тут же цыкнули: «Уйди, дуреха!» А в августе я уже окончательно прощалась со своей детдомовской жизнью. Мне было выдано «выходное пособие»: пальто, два платья, одеяло, продукты и двадцать рублей. Провожала меня на вокзал та самая Руслана Кондакова. Она мне преподнесла прощальный, не виданный доселе дар — капроновые чулки. После нашего прощания связь с прошлым была оборвана.

Я сидела на Финляндском вокзале со своим «выходным пособием» и с вождением подала быстрорастворимый сахар. Рядом уселась женщина, разговорились. И вот в голову мне приходит сумасбродная мысль. Ну, что еще могло прийти на ум девице, только выпущенной из закрытого заведения, не представлявшей, что мир не солнечная поляна, по которой ходят чистые сердцем люди. И я попросила эту «добрую тетеньку» посторожить мои вещи, чтобы еще раз «попрощаться с городом». Надо ли говорить, что, когда я вернулась, ни женщины, ни вещей не было. Так начался мой путь во взрослую жизнь. Так мои розовые очки впервые подернулись патиной. Да что говорить! Это была не единственная глупость. В дальнейшем на моем пути попадались не одни подобные грабли. А я наступала и наступала на них. А между тем началась моя учеба в Выборге. Учиться было чрезвычайно интересно. Да и сам город, маленький и очень уютный, с древними постройками, крепостью, с ароматом средневековья в сравнении с огромным Ленинградом, мне очень нравился. Теперь-то понимаю, что естественней жизнь протекает вот в таких маленьких уютных городах. Большой город высасывает силы, обезличивает людей. А моя приверженность к огромному Ленинграду исходила из неопытности и наивной экзальтированности, за что и была я наказана той теткой, ставившей на вокзале мое барахлишко.

Итак, кончилась моя детдомовская пора. Мне было пятнадцать лет. Все, что связывало меня с детским домом, это оставшиеся у меня двадцать рублей, выданные мне как «выходное пособие». Я впервые предоставлена сама себе. Свобода! Глаза широко распахнуты. Мир населен добрыми людьми, как, например, та обокравшая меня на вокзале женщина. Ну и что! Зато живу я теперь в общежитии, где в комнате четверо девчонок. Они говорят на необычном для моего ленинградского уха наречии — все слова с ударением на «о» и необычными мелодичными интонациями. А были они родом с Русского Севера. Местечко называлось Шугозеро. Я, истощенная долгим «постом», начинаю есть: теперь уже перестаю подсчитывать калории и ем все подряд. С каким вождением я набросилась на еду, которой прежде пренебрегала. С этих пор у меня сформировалось «сверхценное» отношение к пище, как выражаются психиатры. Учеба захватывает меня целиком. Не могу не рассказать о нашем преподавателе анатомии. Имени его не помню. Сохранился лишь в памяти его образ. В воображении моем он остался лукавым седым Сатиром. Ему, по-видимому, нравилось подтрунивать над нашей наивностью. Так, например, однажды он предложил нам такую задачу: «Представьте себе, что вы молодая сестричка, которой нужно катетеризировать молодого пациента с острой задержкой мочи. Вы подходите к нему с катетером. А его половой орган по совершенно естественной причине „встал“. Что вы будете делать?» Мы все смущены, раскраснелись, глаза горят негодованием. Сначала в аудитории воцарилась глубокая пауза. А потом посыпались воинственные предложения. Я, помню, предложила «прихлопнуть его мокрым полотенцем». «Нет!» — сказал наш лукавый Сатир. При этом он пригнулся к столу, прищурил один глаз, сложил пальцы правой руки для щелчка: «Нет, вы щелкнете его по головке, и он ляжет». Тут рука его ладонь, прежде собранная в хищном прицеле, расслабляется и плавно укладывается на стол.

«И вот теперь вы берете его в руку и вставляете катетер!» — завершает он и победно смотрит на нас. Теперь лицо его светилось лукавством и насмешкой над нашим смущением и воинственностью. Мы выдыхаем, понимая, что наш путь в медицину только начат. Помнится еще одно его утверждение: «Никаких сквозняков на свете не существует. Все это выдумки обывателей». Тогда как в реальной жизни они есть, и я с ними неоднократно встречалась...

Новая жизнь мне чрезвычайно нравилась. Учеба увлекала. Даже в морге никаких нервических реакций у меня не наблюдалось. После этих занятий я благополучно отправлялась в железнодорожный буфет, где подала пирожки с повидлом. Но приближалась зима. А у меня не было теплых вещей. И тут вдруг мне открылось, что советское государство выделяет мне ежегодное денежное пособие в сто рублей на экипировку. И мы с моим куратором отправились в магазин, где приобрели мне зимнее пальто. Так я пережила эту зиму. В это время я вечерами работала в клинической лаборатории. Работа была нехитрая и заключалась в переписывании анализов в журнал. Не помню, какое жалованье я получала. Да и не в нем было дело! Хотелось постигнуть медицину изнутри, во всех ее ипостасях.

ГВФ. Курсантов мы звали гэвээфники и ходили к ним на танцы. Там я познакомилась в двумя друзьями — Веней Рыбниковым и Сашей Чамеевым. Позднее Веня писал мне письма с афганской войны. От него впервые я узнала о «грузе 200». А Саша Чамеев уже в то время слыл англоманом, писал стихи в духе Лермонтова и позднее сменил профессию: окончил английское отделение университета. Благодаря ему я посещала лекции по европейской литературе в ЛГУ. Тогда это было возможно — вход в университет был свободным. Из гэвээфника он стал доцентом университета. Говорят, его любили студенты. Теперь Саши нет. Грустно!.. И вот я кончаю первый курс и принимаю совершенно дурацкое решение забрать документы из училища и перевестись в Ленинград. Куда?! Зачем?! Кто меня там ждет? Забирая документы из канцелярии училища, я услышала совершенно резонный вопрос: «Все ли ты продумала? Не пожалеешь?» Но тот самый сквозняк (теперь уже в голове) не позволил мне остановиться: лихой ветер перемен гнал меня прочь. Хотелось новизны. И я ее получила сполна.

Первое время в Ленинграде я ночевала у своих детдомовских однокашниц в строительном общежитии на Невском, что находилось за немецкой кирхой. Проводили меня через охрану контрабандой. За это время я пристроила свои документы в седьмое медучилище на Рузовской улице. Директором его был бывший моряк Иван Тимофеевич. Во всем его облике отражалась морская профессия: это был огромных размеров человек, большой, грузный. Ходил он, словно по палубе, вразвалку. Он-то меня и спросил, есть ли мне где жить. И я в прежней своей «сквозняковой» беспечной манере ответила, что есть. Хотя знала, что, уехав из Ленинграда, я потеряла право на прописку и теперь могла быть только «лимитчицей». Вскоре в общежитии заметили меня и строго-настрого запретили мне там появляться. Вот тут-то я поняла, что такое бездомность. На дворе было лето, и днем я как-то перебивалась на скамейках. В руках у меня были небольшой чемодан и связка с книгами. Ночью я шла на вокзал (тогда вокзалы были доступны всем бездомным) и, кое-как пристроившись на скамейке, коротала остаток ночи. Приходилось отбиваться от похотливых «жеребчиков». В это время во мне еще жил неукротимый детдомовский дух. Надо было что-то предпринимать. Там, на Рузовской, недалеко от училища, мне удалось снять угол у пожилой женщины. Нужно было протянуть время до начала занятий. Я уже знала, что смогу как-нибудь пристроиться на ночлег в училище. И так, я поселилась в коммунальной квартире в одной небольшой комнате с этой самой женщиной. Спала я на сдвинутых стульях. В первую же ночь я узнала, что такое клопы. Это было что-то чудовищное! Утром, измученная,



я пожаловалась своей благодетельнице. Она сказала, что эти «сожители» неистребимы. Мы поместили ножки стульев в блюдца с водой. Но эти аспиды всю следующую ночь пикировали на меня с потолка. Так, деля свое тело с клопами по ночам, промучилась я до начала занятий. И вот в первый же учебный день, дождавшись, когда все ученики покинули здание, я спряталась под столом в классе. Я слышала, как на ночь выпускали собаку в коридор, слышала ее лай. Но спала я, как говаривал мой Учитель, «словно продавши пеньку». Много лет спустя еще один раз мне довелось повстречать клопа, когда я обрела наконец свое жилье: в коридоре на стене коммунальной квартиры я вновь повстречалась с ним. Я спустила его в окно с десятого этажа. С тех пор больше я клопов не видела. Поговаривают, что они стали появляться теперь в петербургских квартирах. Ну что ж, как говаривали в старину, каждая живая душа калачика просит. Но я вернусь в ту раннюю пору свою. Итак, однажды утром уборщица, открыв класс, обнаружила меня спящей на столе. Тотчас Иван Тимофеевич призвал меня к себе. И уже, не выбирая слов, потребовал от меня ответа, как я посмела обмануть его, сказав, что мне есть где жить. Почему-то все большие люди оказываются добряками, а мелкие, подобно клопам, жалят и кусают. И он меня простил и пристроил жить в училище. Приказал мне спуститься в подвал, где в одной из комнат жила молодая уборщица с мужем. И там за занавеской поселилась я. В выходные дни, когда училище закрывалось, я вылезала на улицу через подвальное окно прямо на тротуар. Редкие прохожие шарахались, видя это. Жизнь в подвале навевала мысли о крысах. Я по-прежнему жила впроголодь, со времени моего детдомовского эксперимента с едой мысли о еде не оставляли меня. Помню, вечером как-то прокралась я в училищный буфет в поисках найти хоть что-нибудь съедобное. Но поиски были тщетны! Ложиться спать приходилось «натощак».

А жизнь между тем потекла привычным порядком. Днем я выбиралась из своего подвала на занятия, а вечерами работала сначала на овощной базе, где с такими же юными студентами сортировала овощи и фрукты. Там хотя бы мы наедались винограда и персиков — никто нас не ограничивал. Но прошел фруктовый сезон, и я устроилась работать на фабрику «Скорход». Когда я впервые вошла в цех, он оглушил меня невероятным шумом. Казалось, в этом скрежете механизмов невозможно было существовать. Каждый вечер после учебы я приходила на фабрику. Передо мной проплывали конвейеры с обувью в разных направлениях. Мне доверили один из них с мужской обувью, которая тогда называлась просто и мило «прощай молодость». Я заткнула уши ватой и приступила к операции. Она была примитивной. Ведь я превратилась всего лишь в неотъемлемую часть этого бездушного длинного чудовища — конвейера. Моя задача была переставить обувь с одного конвейера на другой, движущийся в ином направлении. В один из дней я услышала, как из другого конца цеха меня кто-то окликает по имени. Это была моя однокашница по детдому Вера Соколова, та самая, с которой Судьба свела меня в Стрельне, в 49-м интернате, откуда я «сделала ноги». В голосе было что-то знакомое, но он был таким грубым. Да и внешность ее очень изменилась: из прежней грациозной цыганочки с синими глазами передо мной предстала крепко сколоченная работница обувного цеха. Пока мы с нею радостно разговаривали, в другом конце цеха на моем конвейере скопилось гора «прощай молодости». Женщины орали, призывая меня вернуться на место. И далее весь остаток трудового дня я разгребала «завал». Нет, эта работа положительно выматывала меня. И я уже подумывала, чем бы ее заменить. Как вдруг Иван Тимофеевич вызывает меня к себе в кабинет и говорит, что мы, проживающие в подвале, должны его покинуть: пожарные возражают. В этот раз он не стал интересоваться, имею ли я какое-нибудь жилье. И вот я опять встала перед дилеммой: куда нести свою бездомность.

Строительные общежития, «углы» с падающими с потолка клопами, институтский гипнотарий — все осталось в прошлом. Тогда была еще возможность ночевать на вокзалах. И несколько ночей я так и делала. Денег не было. Однажды я взяла такси. Попросила довезти меня до Московского вокзала. Нужно было расплатиться. Я честно призналась, что денег нет. Водитель раскричался и сдал меня в милицию. Здесь, деваться некуда, я честно рассказала жалостливую историю про бедную сиротку, которая днем учится, а по ночам ищет, куда бы приткнуться. И вот, представьте себе, мне предложили большой черный кожаный диван, на котором я забылась сном до утра. И, представьте себе, ни один из доблестных наших милиционеров не посягнул на честь сиротки! А утром меня позвал в свой кабинет начальник милиции и сказал, чтобы я ехала в Ленгорисполком, там нашла инспектора по детству, он мне поможет. И даже денег дал на дорогу. Вот таковы были нравы в городе Ленина!

И вот я уже приближаюсь к концу своей бездомности. Потому что в исполкоме я получила направление на Московский хлебозавод. Там-де я получу койку в общежитии. На заводе меня принял директор, который пояснил, что просто так общежитие мне не даст — нужно работать, работать, естественно, ночами, потому что днем я продолжала учиться в медучилище. Меня поселили в комнате с двумя женщинами. А вечером этого же дня я впервые оказалась в огромном пряничном цеху. Передо мной на многоэтажных противнях лежали — о чудо! — пряники всех видов и родов. Чуть поодаль двигались конвейеры с пряниками. Запах стоял невообразимо сладостный. Было шумно, но против шума на обувной фабрике вкупе с пряничным запахом мне это не мешало. Хотелось поскорее остаться одной и погрузиться зубами в пряники. При том, что в эти годы я продолжала жить впроголодь и в болезненно обостренном воображении постоянно рисовалась еда, я вдруг оказалась как бы в пещере Али-Бабы. Но меня проводили в конец цеха, где стоял огромный стол. На нем лежали пакеты и стопка напечатанных ценников. По правую руку стояли коробки с пряниками. Задача моя была до наивности простой: класть по десять пряников и ценник в пакет. Первое время я добросовестно совершала эту операцию. Но потом монотонное однообразие одних и тех же жестов наскучило мне. Я уже не считала пряники, а просто жестом сеятеля загребала их и отправляла в пакет. Во время перерыва все работницы отправлялись в соседнюю комнату, где стоял большой стол. По одну сторону его стояла бочка со сгущенным молоком, а по другую мешок с сахарным песком. Меня командировали в «горячий» цех за булками. И вот начиналось лукуллово пиршество. Тогда я перепробовала пряники всех сортов. Но этого было мало: я поела сахар столовыми ложками. Этот опыт на многие годы в будущем меня отвратил от сладкого. Ну, а на пряники я и по сей день не гляжу. По-видимому, мое плутовство со счетом пряников раскрылось. Потому что вскоре меня позвали к директору, который мне сообщил, что отныне в моих услугах фабрика не нуждается. Я могу не приходить на работу, но из общежития меня не гонят. Это был царственный жест! Я продолжала учиться. Получала стипендию двадцать рублей. И теперь уже и пряники, и сгущенное молоко, и вожделенный сахар были недоступны. А вскоре и в общежитии мне было отказано, на сей раз без приглашения к директору. Просто пришла комендант и сказала, что не имеет права меня держать, раз я не работаю.

Экзамены за второй курс были сданы. Я могла работать медсестрой. И я устроилась в Первый медицинский институт на кафедру госпитальной терапии с тайной надеждой, что в больнице проще будет исхитриться и найти приют. На этой кафедре я работала под руководством Павла Игнатьевича Буля. Он тогда занимался гипносуггестивной терапией бронхиальной астмы и имел гипнотарий на десять коек. Под сугубым секретом он дал мне ключ от этого кабинета, разрешил там ночевать. После работы

я конспиративно проникала в кабинет и там замирала до утра. Не помню, сколько времени я пользовалась добротой Павла Игнатьевича. Но один поистине дурацкий случай испортил все. Рассказывать, так все, даже самое нелюбезное! Случилось так, что в один из вечеров я, как всегда, просочилась в гипнотарий. Лежу на топчане, читаю. И обоняю великолепный запах яблок. Обследовала помещение: в углу стоит мешок, полный яблок. Все понимаю — не свое, не имею права трогать чужое. Борюсь с искушением. Вновь ложусь на топчан. Но запах не оставляет меня. Думаю, никто не заметит, если возьму из мешка одно яблоко. Да что там говорить, за ним последовало другое, третье и все последующие. После каждой порции я взбадривала мешок, пытаюсь восстановить его первоначальную полноту... На следующий день меня потребовали к начальнику клиники. Там были еще доктор — хозяйка яблок — и добрейший Павел Игнатьевич. Было стыдно, хотелось провалиться. Опозорила себя, не оправдала доверие Павла Игнатьевича. Оставаться в клинике не могла по совести. Пришлось уволиться. При этом я еще осталась должницей, заняв пять рублей у моего благодетеля. И вот много лет спустя, когда эти события остались в прошлом, я вдруг увидела афишу на Доме офицеров, что на Литейном: «Доктор Буль П. И. дает сеанс группового гипноза». И вот я в зале. Народу полно. После короткого вступительного слова и предварительного теста на гипнотабельность (при этом я схитрила и симитировала положительный тест, то есть не разомкнула сцепленных в замок рук) Павел Игнатьевич пригласил на сцену пять человек, в том числе вышла и я. Должно быть, я ему показалась самой гипнотабельной, потому что он вызвал меня первую. Но я была совершенно бездарна. Все усилия экспериментатора оставались тщетны. Конечно, он меня не узнал, ведь прошло столько лет! После сеанса народ повалил на сцену. Я протолкнулась сквозь толпу и сунула ему в карман халата свой долг — пять рублей... Больше я его не видела. Зачем я выкладываю на бумагу эту нелюбезную историю? Есть вещи, которые живут с нами всю жизнь и не позволяют их забыть, какими бы стыдными они ни были. Вот и Павла Игнатьевича нет, а я все помню эту историю. Быть может, если бы тогда после этого «аутодафе» я поговорила с ним и он понял и простил бы меня, то сейчас я не вспоминала с таким сокрушенным чувством о ней. А тогда мне просто было стыдно подойти к нему и извиниться... Вот так всю жизнь: пока была молода, было трудно смирить гордыню, а теперь прошу прощения даже там, где вины моей нет. Ведь как просто понять: когда кажется, вся жизнь впереди, еще столько времени ссориться-мирииться, обижать и быть обиженным. Но вот жизнь, как шагреневая кожа, сжимается, и тогда приходит понимание, что может не хватить времени на то, чтобы простить или быть прощенным...

В ту ночь я сидела в сквере. На душе было скверно. Я не могла простить себе этой глупости с яблоками, из-за которой я осталась без хотя бы временного прибежища. Я сидела и плакала. Вообще я ревела обычно очень редко. Моя детдомовская закалка не позволяла расслабляться. Ведь я одна в целом мире, и если я потеряю себя, свою устойчивость, неистребимое желание преодолеть сложившиеся обстоятельства — погибну. Мои неведомые родители не наградили меня привлекательной внешностью, каким-то особым дарованием. Но они дали мне самое главное, что можно было получить безродной девчонке, мечтающей о собственном месте под солнцем, — это волю к победе, которой порой не бывает у вполне благополучных «домашних» детей. И на том спасибо.